ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ 1

ЯРОСЛАВ
СМЕЛЯКОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1967

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1967

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМ ПЕРВЫЙ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1967

Р2
С50

Оформление художника
Л. КОНВИССЕРА

7-4-2
63-66



НЕСКОЛЬКО ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ СЛОВ

Составляя свой первый двухтомник, я решил не ставить даты под каждым произведением, а объединить их в разделах по тематическому принципу.

В первый том вошли стихотворения, написанные в сороковые и пятидесятые годы.

Второй том открывают стихи, написанные в самое последнее время, еще ни в одной из книг не печатавшиеся.

Особый раздел составляют юношеские стихотворения из самых первых сборни-

ков, которые выходили в свет, когда мне было семнадцать — двадцать лет.

В этот том включена также моя самая большая вещь — повесть в стихах «Строгая любовь», и стихи, примыкающие к ней, а также отрывки из других поэм.

Далее идут избранные переводы из поэзии братских литератур, которыми я занимаюсь уже много лет.

Заключают второй том некоторые литературные заметки, те, какие, как мне кажется, не потеряли своего значения и сейчас.

Я. Смеляков



СТИХОТВОРЕНИЯ

КРЕМЛЕВСКИЕ ЕЛИ



НАШ ГЕРБ

Случилось это
в тот великий год,
когда восстал
и победил народ.

В нетопленный
кремлевский кабинет
пришли вожди державы
на Совет.

Сидели с ними
за одним столом
кузнец с жнеей,
ткачиха с батраком.

А у дверей,
отважен и усат,
стоял с винтовкой
на посту солдат.

Совет решил:
— Мы на земле живем
и нашу землю
сделаем гербом.

Пусть на гербе,
как в небе, навсегда
сияет солнце
и горит звезда.

А остальное —
трижды славься труд! —
пусть делегаты
сами принесут.

Принес кузнец
из дымной мастерской
свое богатство —
вечный молот свой.

Тяжелый сноп,
в колосьях и цветах,
батрак принес
в натруженных руках.

В куске холста
из дальнего села
свой острый серп
крестьянка принесла.

И, сапогами
мерзлыми стуча,
внесла ткачиха
свиток кумача.

И молот тот,
что кузнецу служил,
с большим серпом
Совет соединил.

Тяжелый сноп,
наполненный зерном,
Совет обвил
октябрьским кумачом.

И лозунг наш,
по слову Ильича,
начертан был
на лентах кумача.

Хотел солдат —
не смог солдат смолчать —
свою винтовку
для герба отдать.

Но вождь народов
воину сказал,
чтоб он ее
из рук не выпускал.

С тех пор солдат —
почетная судьба! —
стоит на страже
нашего герба.

КРЕМЛЕВСКИЕ ЕЛИ

Это кто-то придумал
счастливо,
что на Красную площадь
привез
не плакучее
празднество ивы
и не легкую сказку
берез.

Пусть кремлевские
темные ели
тихо-тихо
стоят на заре,
островерхие
дети метели —
наша память
о том январе.

Нам сродни
их простое убранство,
молчаливая
их красота,

и суровых ветвей
постоянство,
и сибирских стволов
прямота.

ЛЕНИН

Мне кажется, что я не в зале,
а, годы и стены пройдя,
стою на Финляндском вокзале
и слушаю голос вождя.

Пространство и время нарушив,
мне голос тот в сердце проник,
и прямо на площадь, как в душу,
железный идет броневик.

Отважный, худой, бородатый —
гроза петербургских господ —
я вместе с окопным солдатом
на Зимний тащу пулемет.

Земля, как осина, дрожала,
когда наш отряд штурмовал.
Нам совесть идти приказала,
нас Ленин на это послал.

Знамена великих сражений,
пожары гражданской войны...
Как смысл человечества, Ленин
стоит на трибуне страны.

Я в грозных рядах растворяюсь,
я ветром победы дышу
и, с митинга в бой отправляясь,
восторженно шапкой машу.

Не в траурном зале музея —
меж тихих московских домов
я руки озябшие грею
у красных январских костров.

Ослепли глаза от мороза,
ослабли от туч снеговых,
и ваши, товарищи, слезы
в глазах застывают моих...

РЯБИНА

В осенний день из дальнего села,
как скромное приданое свое,
к стене Кремля рябина принесла
рязанских ягод красное шитье.

Кремлевских башен длился хоровод.
Сиял поток предпраздничных огней.
Среди твоих сокровищниц, народ,
как песня песен — площадь площадей.

Отсюда начинается земля.
Здесь гений мира меж знамен уснул.
И звезды неба с звездами Кремля
над ним несут почетный караул.

В полотнищах и флагах торжества
пришелицу из дальнего села
великая победная Москва,
как дочь свою, в объятья приняла.

К весне готовя белые цветы,
в простой листве и ягодах своих

она стоит, как образ чистоты,
меж вечных веток елей голубых.

И радует людей моей страны
средь куполов и каменных громад
на площади салютов, у стены,
рябины тонкой праздничный наряд.

РЯЗАНСКИЕ МАРАТЫ

Когда-нибудь, пускай предвзято,
обязан будет вспомнить свет
всех вас, рязанские Мараты
далеких дней, двадцатых лет.

Вы жили истинно и смело
под стук литавр и треск пальбы,
когда стихала и кипела
похлебка классовой борьбы.

Узнав о гибели селькора
иль об убийстве избача,
хватали вы в ночную пору
тулуп и кружку первача

и — с ходу — уезжали сами
туда, с наганами в руках.
Ох, эти розвальни и сани
без колокольчика, впотьмах!

Не потаенно, не келейно —
на клубной сцене, прямо тут,
при свете лампы трехлинейной
вершились следствие и суд.

Не раз, не раз за эти годы —
на свете нет тяжельше дел! —
людей, от имени народа,
вы посылали на расстрел.

Вы с беспощадностью предельной
ломали жизнь на новый лад
в краю ячеек и молелен,
средь бескорыстья и растрат.

Не колебались вы и мало.
За ваши подвиги страна
вам — равной мерой — выдавала
выговора и ордена.

И гибли вы не в серной ванне,
не от надушенной руки.
Крещенской ночью в черной бане
вас убивали кулаки.

Вы ныне спите величаво,
уйдя от санкций и забот,
и гул забвения и славы
над вашим кладбищем плывет.

ПОСТЫШЕВ

Я не видал его ни разу,
мне не случалось рядом быть,
но твердо знаю, что обязан
ему хоть строчку посвятить.

...О нем при жизни не писали,
хотя он в центре жизни был,
в том рассуждении, что Сталин
таких попыток не любил.

Да он и сам своим обличьем,
всем стилем личности своей,
был чужд понятию величья —
уделу маленьких вождей.

...Я это имя понаслышке
узнал, как помню, в первый раз,
когда совсем еще мальчишкой
попал по случаю в Донбасс.

В те дни, гордясь донецкой маркой,
идя уверенным шажком,
стучала громко Кочегарка
своим ударным обушком.

Рубила уголь без промашки,
гнала программу только так,
хотя нередко на упряжку
ходила чуть не натощак.

Как раз в то время непростое,
той легендарною порой
руководил Павло Петрович
народа здешнего судьбой.

Непросто было и нескоро
в то время, о котором речь,
любовь донецкого шахтера,
его привязанность привлечь.

Чтобы почувствовать признанье
людей горняцкой стороны,
не обойдешься обаяньем —
иные качества нужны.

Он вел их честною дорогой,
был их понятиям под стать...
Как видите, не слишком много
о нем сумел я рассказать.

Но ведь моею честью стало
его, свершившего свой путь,
хотя бы словом запоздалым,
хоть поздним словом помянуть.

ВИНТИК

Угрюмый вождь, вчерашний гений,
немногословен и устал,
тебя в одном из выступлений
обычным винтиком назвал.

Неторопливый и суровый,
решавший, как народу быть,
он даже думал этим словом
тебе по-своему польстить.

В его державном представленье
ты был действительно таким:
не чудом жизни, не явленьем,
а только винтиком одним.

А ты, родившийся в апреле,
когда летят сосульки с крыш,
в своей некрепкой колыбели
уже по-своему кричишь.

А ты, подросток новой складки,
хотя со старшими и схож,
но в наши общие порядки
свою особенность несешь.

Известен или неизвестен,
ты все равно незаменим,
живущий вне хулы и лести
страны Советской гражданин.

Ты строил сам свои заводы,
сам отстоял свои края.
Звучит история народа,
как биография твоя.

Ты, человек, чертами всеми,
всей сутью духа своего,
и выражаешь наше время,
и отвечаешь за него.

ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК

Живя в двадцатом веке,
в отечестве своем,
хочу о человеке
поговорить простом.

Раскрыв листы газеты,
раздумываю зло:
определенье это
откудова пришло?

Оно явилось вроде
из тех ушедших лет:
смердит простонародье,
блистает высший свет.

В словечке также можно
смысл увидать иной:
вот это, дескать, сложный,
а этот вот — простой.

На нашем белом свете,
в республиках страны
определенья эти
нелепы и смешны.

Сквозь будни грозовые
идущий в полный рост,
сын ленинской России
совсем не так уж прост.

Его талант и гений,
пожалуй, посильней
иных стихотворений
и множества статей.

За все, что миру нужно,
товарищ верный тот
отнюдь не простодушно
ответственность несет.

РАБОЧИЙ

Стоит среди
товарищей седых
внук бурлаков
и правнук крепостных.

От прадеда,
хоть прадед нищим был,
он золотое сердце
получил.

Остались в дар
от деда-бурлака
тяжелый шаг
и тяжкая рука.

Еще он взял
в наследство у отца
погасший горн
и молот кузнеца.

Он горн раздул,
он клещи растворил
и золотое сердце
раскалил.

И цепи те,
что сделал капитал,
рукою закопченной
разорвал.

Вихрь Октября
крутил, ярился, мел
в тот день, когда он
к Ленину пришел.

С тех пор он был
судьею и бойцом,
строителем
и снова кузнецом.

На смерть ходил,
заводы возводил —
всех покарал
и все восстановил.

Он звезды мира
сделал для Кремля
и тракторы
отправил на поля.

Он пушки льет
для доменных печей,
у коксовых
дежурит батарей.

Он двигает —
хозяин-великан —
трехтонный молот
и прокатный стан.

И горе тем,
которые прервут
его дела,
его железный труд.

БОЛЬШЕ НЕТ ПРИРОДЫ РАВНОДУШНОЙ

И равнодушная природа...
А. С. Пушкин

С музыкой
и с песней,
не таясь,
мы берем богатство
у природы —
так, как брали
и как взяли власть
в октябре семнадцатого года.

С той поры,
в своей уверясь силе,
принимая всех врагов в штыки,
многому
природу научили
сыновья страны — большевики.

Разослав
по всем путям березы
и собрав
на митинг все поля,

по призыву партии
в колхозы
записалась русская земля.

Яблоки
несет в охапке сад.
Ручейки
меж грядками несутся.
Тянутся ростки —
они хотят
до своих заданий дотянуться.

Больше нет природы
равнодушной:
вся она
движения полна —
против черных бурь
и ветров душных
начата
зеленая война.

Лес стоит
на страже урожая
и не сходит
с места своего —
как стояли,
землю защищая,
храбрые хозяева его.

СТОЛОВАЯ НА ОКРАИНЕ

Люблю рабочие столовки,
весь их бесхитростный уют,
где руки сильные неловко
из пиджака или спецовки
рубли и трешки достают.

Люблю войти вечерним часом
в мирок, набитый жизнью, тот,
где у окна стеклянной кассы
теснится правильный народ.

Здесь стены вовсе не богаты,
на них ни фресок, ни ковров —
лишь розы плоские в квадратах
полуискусных маляров.

Несут в тарелках борщ горячий,
лапша колышется, как зной,
и пляшут гривеннички сдачи
перед буфетчицей одной.

Тут, взяв, что надо, из окошка,
отнюдь не кушают — едят,

и гнутся слабенькие ложки
в руках окраинных девчат.

Здесь, обратя друг к дружке лица,
нехитрый пробуя салат,
из магазина продавщицы
в халатах синеньких сидят.

Сюда войдет походкой спорой,
самим собой гордясь в душе,
в таком костюмчике, который
под стать любому атташе,
в унтах, подвернутых как надо,
с румянцем крупным про запас,
рабочий парень из бригады,
что всюду славится сейчас.

Сюда торопятся подростки,
от нетерпенья трепеща,
здесь пахнет хлебом и известкой,
здесь дух металла и борща.

Здесь все открыто и понятно,
здесь все отмечено трудом,
мне все близки и все приятны,
и я не лишний за столом.

ПЕРВАЯ ПОЛУЧКА

Как золотящаяся тучка,
какую сроду не поймать,
мне утром первая получка
сегодня вспомнилась опять.

Опять настойчиво и плавно
стучат машины за стеной,
а я, фабзавучник недавний,
стою у кассы заводской.

И мне из тесного оконца
за честный и нелегкий труд
еще те первые червонцы
с улыбкой дружеской дают.

Мне это вроде бы обычно,
и я, поставя росчерк свой,
с лицом, насильно безразличным,
ликуя, их несу домой.

С тех пор не раз,— уж так случилось,
тут вроде нечего скрывать,—
мне в разных кассах приходилось
за песни деньги получать.

Я их писал не то чтоб кровью,
но все же времени черты
изображал без суесловья
и без дешевой суеты.

Так почему же нету снова
в день гонорара моего
не только счастья заводского,
но и достоинства того?

Как будто занят пустяками
средь дел суровых и больших,
и вроде стыдно жить стихами,
и жить уже нельзя без них.

МАГНИТКА

От сердца нашего избытка,
от доброй воли, так сказать,
мы в годы юности Магниткой
тебя привыкли называть.

И в этом — если разобраться,
припомнить и прикинуть вновь —
нет никакого панибратства,
а просто давняя любовь.

Гремят, не затихая, марши,
басов рокочущая медь.
За этот срок ты стала старше
и мы успели постареть.

О днях ушедших не жалея,
без общих фраз и пышных слов
страна справляет юбилеи
людей, заводов, городов.

Я просто счастлив тем, что помню,
как праздник славы и любви,
и очертанья первой домны,
и плавки первые твои.

Я счастлив помнить в самом деле,
что сам в твоих краях бывал
и у железной колыбели
в далекой юности стоял.

Вновь гордость старая проснулась,
припомнилось издалека,
что в пору ту меня коснулась
твоя чугунная рука.

И было то прикосновенье
под красным лозунгом труда,
как словно бы благословенье
самой индустрии тогда.

Я просто счастлив тем, однако,
что помню зимний твой вокзал,
что ночевал в твоих бараках,
в твоих газетах выступал.

И, видно, я хоть что-то стою,
когда в начале всех дорог
хотя бы строчкою одною
тебе по-дружески помог.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЦИОЛКОВСКОМ

В те дни, когда мы увлеченно
глядим в занебесную гладь,
я должен о старом ученом
хоть несколько строк написать;

напомнить о том человеке,
что жизнь проработал сполна
еще в девятнадцатом веке
и в наши потом времена.

Он путь пролагал без оглядки
к светилам, мерцавшим во мгле,
старик, в неизменной крылатке
ходивший по нашей земле.

Ах, сколько ума и старанья
и сколько недюжинных сил
еще в одиночку, заране,
он в вас, корабли мирозданья,
и в вашу оснастку вложил!

Ему б полагалось за это
(да некого тут упрекать)
при запуске первой ракеты
на месте почетном стоять.

Ему бы, шагнув через время,
войти, как к себе, в этот год
и праздновать вместе со всеми
ее межпланетный полет...

Я знаю неплохо, поверьте,
и спорить не думаю тут,
что нету у гениев смерти
и мысли их вечно живут.

Я все это знаю, и все же
сегодня печалит меня,
что сам прорицатель не дожил
до им предреченного дня.

ПАРОВОЗ

Посвящается Я. М. Кондратьеву,
бывшему комиссару паровозных бригад,
машинисту депо станции Москва-Сортировочная,
участнику первого коммунистического субботника

1

Смену всю отработав,
в полусумерках мглистых
не пошли в ту субботу
по домам коммунисты.

Снова, с новою силой
все депо загудело:
так ячейка решила,
обстановка велела.

Поскорее под небо
выводи из ремонта
паровозы для хлеба,
паровозы для фронта!

Пусть живительным жаром
топки вновь запылают,
их давно комиссары
на путях ожидают.

Повезут они вскоре
Красной гвардии части —
колчаковцам на горе,
партизанам на счастье.

2

Вот он стронул вагоны,
засвистал, заработал,
паровоз, воскрешенный
в ту большую субботу.

Ну, а те, что свершили
этот подвиг немалый,
из депо уходили,
улыбаясь устало.

И совсем не гадали —
так уж сроду ведется,—
что в народах и далях
этот день отзовется.

Что внедолге их дело
станет общею славой...

3

Сорок лет пролетело,
словно сорок составов.

На путях леспромхоза,
там, где лес вырубали,
след того паровоза
в наши дни отыскали.

Все пыхтел он, работник,
все свистел и старался,
словно вечный субботник
у него продолжался.

4

Был доставлен любовно
он из той лесосеки
и в депо подмосковном
установлен навеки.

Мы стоим в этом зданье,
слов напрасно не тратя:
я — с газетным заданьем
и товарищ Кондратьев.

Все в нем очень приятно,
все мне нравится вроде:
кителек аккуратный
и картуз не по моде.

В паровозную будку
по ступенькам влезаем:
я сначала, как будто
гость и старый хозяин.

Это он в ту субботу,
отощавший, небритый,
возвратил на работу
паровоз знаменитый.

В этой дружбе старинной
никакого изъяна,
человек и машина,
наших дней ветераны.

5

Все узнать по порядку
не хватало тут свету.
Из кармана, с догадкой,
мы достали газету.

Чтобы все, до детали,
рассмотреть по привычке,
не спеша ее смяли,
засветили от спички.

Пусть в остынувшей топке,
что открылась пред нами,
из нее неторопко
разгорается пламя.

6

От Москвы к Ленинграду
доберешься нескоро,
но в сознании — рядом
паровоз и «Аврора».

Не ушедшие тени,
не седые останки,
тот — на вечном храненье,
та — на вечной стоянке.

Возле славных и схожих
двух реликвий России
голоса молодежи
и дела молодые...

ПЕСНЯ СТАРОГО ШАХТЕРА

Для славы, а не для потехи,
на глиняной стенке подряд,
как жизни рабочей доспехи
шахтерские лампы висят.

Как служат мечи до победы,
служили они до конца.
Под ржавою лампою деда
подвешена лампа отца.

Когда повалюсь я на уголь,
ты слез понапрасну не лей —
возьми мою лампу, старуха,
и ниже отцовской прибей.

А утром на шахту в контору
сынишка пойдет молодой,
запишется в списки шахтеров
и лампу возьмет в ламповой.

УГОЛЬ

На какой — не запомнилось — стройке
года три иль четыре назад
мне попался, исполненный бойко,
безымянной халтуры плакат.

Без любви и, видать, без опаски
некий автор, довольный собой,
написал его розовой краской
и добавил еще голубой.

На бумаге, от сладости липкой,
возвышался, сияя, копер,
и конфетной сусальной улыбкой
улыбался пасхальный шахтер.

Ах, напрасно поставил он точку!
Не хватало еще в уголке
херувимчика иль ангелочка
с обязательством, что ли, в руке...

Ничего от тебя не скрывая,
заявляю торжественно я,
что нисколько она не такая,
горняков и шахтеров земля.

Не найдешь в ней цветов изобилья,
не найдешь и садов неземных —
дымный ветер, замешенный пылью,
да огни терриконов ночных.

Только тем, кто подружится с нею,
станет близкой ее красота.
И суровей она и сильнее,
чем подделка дешевая та.

Поважнее красот ширпотреба,
хоть и эти красоты нужны,
по заслугам приравненный к хлебу,
черный уголь рабочей страны.

Удивишься на первых порах ты,
как всесильность его велика.
Белый снег, окружающий шахту,
потемнел от того уголька.

Здесь на всем, от дворцов до палаток,
что придется тебе повстречать,
ты увидишь его отпечаток
и его обнаружишь печать.

Но находится он в подчиненье,
но и он покоряется сам
человечьим уму и уменью,
человеческим сильным рукам.

Перед ним в подземельной темнице
на колени случается стать,
но не с тем, чтоб ему поклониться.
а затем, что способнее брать.

Ничего не хочу обещать я,
украшать не хочу ничего,
но машины и люди, как братья,
не оставят тебя одного.

И придет, хоть не сразу, по праву
с орденами в ладони своей
всесоюзная гордая слава
в общежитье бригады твоей.

ХЛЕБНОЕ ЗЕРНО

У крестьян торжественные лица.
Поле все зарей освещено.
В землю, за колхозною станицей,
хлебное положено зерно.

Солнце над зерном неслышно всходит.
Возле пашни, умеряя прыть,
поезда на цыпочках проходят,
чтоб его до срока не будить.

День и ночь идет о нем забота:
города ему машины шлют,
пионеры созывают слеты,
институты книги издают.

В синем небе летчики летают,
в синем море корабли дымят.
Сто полков его оберегают,
сто народов на него глядят.

Спит оно в кубанской колыбели.
Как отец, склонился над зерном
в куртке, перешитой из шинели,
бледный от волненья агроном.

СТИХИ О ВЫСТАВКЕ

ПАВИЛЬОН ГРУЗИИ

Кто — во что,
а я совсем влюблен
в Грузии чудесный павильон.

Он звучит в моей душе, как пенье,
на него глаза мои глядят.
Табачком обсыпавши колени,
по-хозяйски на его ступенях
туляки с узбеками сидят.

Я пройду меж них —
и стану выше,
позабуду мелочи обид.
В сером камне водоем журчит,
струйка ветра занавес колышет,
голову поднимешь —
вместо крыши
небо необманное стоит.

И пошла показывать земля
горькие корзины миндаля,

ведра меда,
бушели пшеницы,
древесину,
виноград,
руно,
белый шелк
и красное вино.
Все влечет,
все радует равно —
яблоко и шумное зерно.
Все — для нас,
всему не надивиться.
Цвет и запах —
все запоминай.
В хрупких чашках медленно дымится
Грузии благоуханный чай.

Жителю окраин городских
издавна знакомы и привычны
вина виноградарей твоих,
низенькие столики шашлычных.

Я давно, не тратя лишних слов,
пью твой чай и твой табак курю,
апельсины из твоих садов
северным красавицам дарю.

Но теперь хожу я сам не свой:
я никак не мог предполагать,
что случится в парке под Москвой
мне стоять наедине с тобой
и твоей прохладою дышать.

МИЧУРИНСКИЙ САД

Оценив строителей старанье,
оглядев все дальние углы,
я услышал ровное жужжанье,
тонкое гудение пчелы.

За пчелой пришел я в это царство
посмотреть внимательно, как тут,
возле гряд целебного лекарства,
тоненькие яблони растут.

Как стоит, не слыша пташек певчих,
в старомодном длинном сюртуке,
каменный великий человечек
с яблоком, прикованным к руке.

Он молчит, воитель и ваятель,
сморщенных не опуская век,
царь садов, самой земли приятель,
седенький сутулый человек.

Если это нужным он сочтет,
яблоня, хрипя и унижаясь,
у сапог властителя валяясь,
по земле, как нищенка, ползет.

И в его неоспоримой власти
сделать так, мудруя в черенках,
что стоишь ты, позабыв напасти,
захмелев от утреннего счастья
и цветов в зеленых волосах.

Снял он с ветки вяжущую грушу,
на две половинки разделил

и ее таинственную душу
в золотое яблоко вложил.

Я слежу, томительно и длинно,
как на солнце светится пыльца
и стучат, сливаясь воедино,
их миндалевидные сердца.

Рассыпая маленькие зерна,
по колено в северных снегах,
ковыляет деревце покорно
на кривых беспомощных ногах.

Я молчу, волнуясь в отдаленье,
я бы отдал лучшие слова,
чтоб достигнуть твоего уменья,
твоего, учитель, мастерства.

Я бы сделал горбуна красивым,
слабовольным силу бы привил,
дал бы храбрым нежность, а трусливых —
храбрыми сердцами наделил.

А себе одно б оставил свойство:
жизнь прожить, как ты прожил ее,
творческое слыша беспокойство,
вечное волнение свое.

БЫК

У меня такое ощущенье,
что, зайдя под этот темный кров,
я услышал шум возникновенья,
тайный шум рождения миров.

Сладкий сумрак заполняет зданье.
Нам пришлось бы двигаться впотьмах
если бы не легкое сиянье
звездочек на каменистых лбах.

В испареньях розового цвета,
в облаках парного молока
светится, как новая планета,
медленное тулово быка.

НАКАНУНЕ ПАРАДА

Все нарастает
торжественный гуд:
это опять
от Нескучного сада
танки на Красную площадь
идут —
ночью,
за несколько дней до парада.

Напоминая окраской своей
майские нивы
и рощи густые,
тяжко идут
меж полночных огней
грозные танки
Советской России.

Мир никогда
не забудет о том,
как, сотрясая
высоты и дали,
танковых армий
стальным кулаком

в двери Германии
мы постучали;

как по дорогам
великой весны,
за удиравшими ордами
следом,
через пожары
немецкой страны,
вы пронеслись,
колесницы победы.

Над синевой
океанской волны
носятся волны
насилья и злобы.
Капля за каплею
тучи войны
копятся в сейфах
страны небоскребов.

Но никогда они
не затемнят
мирных созвездий
Отчизны свободы.
Наши колхозы
ночами не спят,
ночью работают
наши заводы.

Мы отвечаем
ораве лжецов —
шумом спокойным
полей колосистых,

речью оратора,
хором гудков,
гулом машин
и молчаньем танкистов.

Молот и штык,
оборона и труд
ночью предпраздничной
шествуют рядом.

...Мимо заводов
и фабрик идут
танки
за несколько дней до парада.

ВЫ НЕ ИСЧЕЗЛИ

Внезапно кончив путь короткий
(винить за это их нельзя),
с земли уходят одногодки:
полузнакомые, друзья.

И я на грустной той дороге,
судьбу предчувствуя свою,
подписываю некрологи,
у гроба красного стою.

И, как ведется, по старинке,
когда за окнами темно,
справляя шумные поминки,
пью вместе с вдовами вино.

Но в окруженье слез и шума,
средь тех, кто жадно хочет жить,
мне не уйти от гордой думы,
ничем ее не заглушить.

Вы не исчезли словно тени
и не истаяли как дым,
все рядовые поколенья,
что называю я своим.

Вы пронеслись объединенно,
оставив длинный светлый след,—
боюсь красот! — как миллионы
мобилизованных комет.

Но восхваления такие
чужды и вовсе не нужны
начальникам цехов России,
политработникам страны.

Не прививалось преклоненье,
всегда претил кадильный дым
тебе, большое поколенье,
к какому мы принадлежим.

В скрижали родины Советов
врубило, как зубилом, ты
свой идеал, свои приметы,
свои духовные черты.

И их не только наши дети,
а люди разных стран земли
уже почти по всей планете,
как в половодье, понесли.

* * *

Иные люди с умным чванством,
от высоты навеселе,
считают чуть ли не мещанством
мою привязанность к Земле.

Но погоди, научный автор,
ученый юноша, постой!
Я уважаю космонавтов
ничуть не меньше, чем другой.

Я им обоим благодарен,
пред ними кепку снять готов.
Пусть вечно здравствует Гагарин
и вечно славится Титов!

Пусть в неизвестности державной,
умнее бога самого,
свой труд ведет конструктор Главный
и все помощники его.

Я б сам по заданной программе,
хотя мой шанс ничтожно мал,
в ту беспредельность, что над нами,
с восторгом юности слетал.

Но у меня желанья нету,
нет нетерпенья, так сказать,
всю эту старую планету
на астероиды менять.

От этих сосен и акаций,
из этой вьюги и жары
я не хочу переселяться
в иные, чуждые миры.

Не оттого, что в наших кружках
нет слез тщеты и нищеты
и сами прыгают галушки
во все разинутые рты.

Не потому, чтоб здесь спокойно
жизнь человечества текла:
потерян счет боям и войнам
и нет трагедиям числа.

Терпенье нужно, и геройство,
и даже гибель, может быть,
чтоб всей земли переустройство,
как подобает, завершить.

И все же мне родней и ближе
загадок Марса и Луны
судьба Рязани и Парижа,
и той испанской стороны.

УТРЕННЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Я увидал на той неделе,
как по-солдатски паравне
четыре сверстника в шинелях
копали землю в стороне.

Был так приятен спозаранку
румянец этих лиц живых,
слегка примятые ушанки,
четыре звездочки на них.

Я вспомнил пристально и зорко
сквозь развидневшийся туман
ту легендарную четверку
и возмущенный океан.

С каким геройством непрестанным
от человечества вдали
солдаты эти с океаном
борьбу неравную вели!

С неиссякаемым упорством,
не позабытым до сих пор,
свершалось то единоборство,
не прекращался тяжкий спор.

Мы сразу их назвали сами,
как разумели и могли,
титанами, богатырями
и чуть не в тоги облекли.

Но вскоре мне понятно стало,
что, обольщавшие сперва,
звучат неверно, стоят мало
высокопарные слова.

И нам случилось удивиться,
увидевши в один из дней
не лики строгие, а лица
своих измученных детей,

обычных мальчиков державы,
сумевших в долгом том пути
жестокий труд и бремя славы
с таким достоинством нести.

МОНОЛОГ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА

Я русский по виду и сути.
За это меня не виня,
таким вот меня и рисуйте,
ваяйте и пойте меня.

Нелегкие общие думы
означили складку у рта.
Мне свойственны пафос и юмор,
известна моя доброта.

Но в облике том большелобом,
в тебе, пролетарская кость,
есть также не то чтобы злоба,
а грубая, честная злость.

Я русский по духу и плоти.
Развеяв схоластику в прах,
и в мысли моей, и в работе
живет всесоюзный размах.

Под знаменем нашим державным
я — с тех достопамятных пор —
нисколько не главный, а равный
средь братьев своих и сестер.

Литовцы, армяне, казахи,
мы все в государстве своем
не то чтоб в зазнайстве и страхе,
а в равенстве общем живем.

Я с этим испытанным братством,
с тобой, дорогая страна,
всем русским духовным богатством
успел поделиться сполна.

И сам я, не менее знача,
не сдавши позиций своих,
стал много сильней и богаче
от песни и музыки их.

ПЕРЕУЛОК

Ничем особым не знаменит —
в домах косых и сутулых —
с утра, однако, вовсю шумит
окраинный переулок.

Его, как праздничным кумачом
и лозунгами плаката,
забили новеньким кирпичом,
засыпали силикатом.

Не хмурясь сумрачно, а смеясь,
прохожие, как подростки,
с азартом вешнюю топчут грязь,
смешанную с известкой.

Лишь изредка чистенький пешеход,
кошачьи зажмуря глазки,
бочком строительство обойдет
с расчетливою опаской.

Весь день, бездельникам вопреки,
врезаются в грунт лопаты,
гудят свирепо грузовики,
трудится экскаватор.

Конечно, это совсем не тот,
что где-нибудь на каналах
в отверстый зев полгоры берет
и грузит на самосвалы.

Но этот тоже пыхтит не зря,
недаром живет на свете —
младший братишка богатыря,
известного всей планете.

Вздымая над этажом этаж,
подъемные ставя краны,
торопится переулок наш
за пятилетним планом.

Он так спешит навстречу весне,
как будто в кремлевском зале
с большими стройками наравне
судьбу его обсуждали.

Он так старается дотемна,
с такою стучит охотой,
как будто огромная вся страна
следит за его работой.

КАРМАН

На буднях потертых штанишках,
известных окрестным дворам,
у нашего есть у мальчишки
единственный только карман.

По летне-весенним неделям
под небом московским живым
он служит ему и портфелем,
и верным мешком вещевым.

Кладет он туда без утайки,
по всем закоулкам гостя,
то круглую темную гайку,
то ржавую шляпку гвоздя.

Какие там к черту игрушки —
подделки ему не нужны.
Надежнее комнатной пушки
помятая гильза войны.

И я говорю без обмана,
что вы бы нащупать смогли
в таинственных недрах кармана
ребячую горстку земли.

Ты сам, мальчуган красноротый,
в своей разобрался судьбе:
пусть будут земля и работа —
и этого хватит тебе.

ПРИЗНАНЬЕ

Не в смысле каких деклараций,
не пафоса ради, ей-ей,—
мне хочется просто признаться,
что очень люблю лошадей.

Сильнее люблю, по-другому,
чем разных животных иных...
Не тех кобылиц ипподрома,
солисток трибун беговых.

Не тех жеребцов знаменитых,
что,— это считая за труд,—
на дьявольских пляшут копытах
и как оглашенные ржут.

Не их, до успехов охочих,
блистающих славой своей,—
люблю неказистых, рабочих,
двужильных кобыл и коней.

Забудется нами едва ли,
что вовсе в недавние дни
всю русскую землю пахали
и жатву свозили они.

Недаром же в старой России,
пока еще памятной нам,
старухи по ним голосили,
почти как по мертвым мужьям.

Их есть и теперь по Союзу
немало в различных местах,
таких кобыленок кургузых
в разбитых больших хомутах.

Недели не знавшая праздной,
прошедшая сотни работ,
она и сейчас безотказно
любую поклажу свезет.

Но только, в отличье от прежней,
косясь, не шарахнется вбок,
когда по дороге проезжей
раздастся победный гудок.

Свой путь уступая трехтонке,
права понимая свои,
она оглядит жеребенка
и трудно свернет с колеи.

Мне праздника лучшего нету,
когда во дворе дотемна
я смутно работницу эту
увижу зимой из окна.

Я выйду из душной конторки,
заранее радуясь сам,
и вынесу хлебные корки,
и сахар последний отдам.

Стою с неумелой заботой,
осклабив улыбкою рот,
и глупо шепчу ей чего-то,
пока она мирно жует.

ИЗ ДНЕВНИКА

Вчера
возле стадиона «Динамо»,
соскочив на ходу с трамвая
и пробираясь по снежному насту
к одноэтажному домику своего друга,
я вдруг увидал под фонарем, у пригорка,
двух мирно беседующих подростков.

Один на своих деревянных лыжах
стоял, отирая со лба рукою
пот здорового человека,
и внимательно слушал,
не нарушая,
однако, правильности дыханья,
то, что говорил ему мальчик
с грубою деревянной ногою.

Вот и все.
Я прошел мимо них неслышно,
не замедляя прямого шага,
не заглянув им в лицо,
не зная
того, о чем они говорили,

и только потом уже остановился,
почувствовав — этого я не забуду.

О, если б со мною была в тот вечер
волшебная палочка — я б, наверно,
нашел, как вмешаться и что исправить.
Но, как нарочно, я, представьте,
забыл ее дома, среди скопленья
папиросных коробок и фотографий.

Я вынужден был осознать бессилье
и пройти мимо мальчиков
с тем безразличьем,
с каким осыпало февральское небо
того и другого, одною мерой,
белыми звездочками снежинок;
с той равнозначностью,
с тем бесстыдством,
с какими дерево — страшно подумать! —
пошло одному на длинные лыжи
и другому — на новую эту ногу.

ПАМЯТНИК

Приснилось мне, что я чугунным стал.
Мне двигаться мешает пьедестал.

Рука моя трудна мне и темна,
и сердце у меня из чугуна.

В сознании, как в ящике, подряд
чугунные метафоры лежат.

И я слежу за чередою дней
из-под чугунных сдвинутых бровей.

Вокруг меня деревья все пусты,
на них еще не выросли листы.

У ног моих на корточках с утра
самозабвенно лазит детвора,

а вечером, придя под монумент,
толкует о бессмертии студент.

Когда взойдет над городом звезда,
однажды ночью ты придешь сюда.

Все тот же лоб, все тот же синий взгляд,
все тот же рот, что много лет назад.

Как поздний свет из темного окна,
я на тебя гляжу из чугуна.

Недаром ведь торжественный металл
мое лицо и руки повторял.

Недаром скульптор в статую вложил
все, что я значил и зачем я жил.

И я сойду с блестящей высоты
на землю ту, где обитаешь ты.

Приближусь прямо к счастью своему,
рукой чугунной тихо обниму.

На выпуклые грозные глаза
вдруг набежит чугунная слеза.

И ты услышишь в парке под Москвой
чугунный голос, нежный голос мой.

* * *

Если я заболею,
к врачам обращаться не стану.
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.

Я ходил напролом.
Я не слыл недотрогой.
Если ранят меня в справедливых боях,
забинтуйте мне голову
горной дорогой
и укройте меня
одеялом
в осенних цветах.

Порошков или капель — не надо.
Пусть в стакане сияют лучи.
Жаркий ветер пустынь, серебро водопада —
вот чем стоит лечить.

От морей и от гор
так и веет веками,
как посмотришь — почувствуешь:
вечно живем.
Не облатками белыми
путь мой усеян, а облаками.
Не больничным от вас ухожу коридором,
а Млечным Путем.

КЛАССИЧЕСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Как моряки встречаются на суше,
когда-нибудь, в пустынной полумгле,
над облаком столкнутся наши души,
и вспомним мы о жизни на Земле.

Разбередя тоску воспоминаний,
потупимся, чтоб медленно прошли
в предутреннем слабеющем тумане
забытые видения Земли.

Не сладкий звон бесплотных райских птиц —
меня стремглав Земли настигнет пенье:
скрип всех дверей, скрипенье всех ступенек,
поскрипыванье старых половиц.

Мне снова жизнь сквозь облако забрезжит,
и я пойму всей сущностью своей
гуденье лип, гул проводов и скрежет
булыжником мощенных площадей.

Вот так я жил — как штормовое море,
ликуя, сокрушаясь и круша,
озоном счастья и предгрозьем горя
с великим разнозначием дыша.

Из этого постылого покоя,
одну минуту жизни посуля,
меня потянет черною рукою
к себе назад всесильная Земля.

Тогда, обет бессмертия наруша,
я ринусь вниз, на родину свою.
и грешную томящуюся душу
об острые каменья разобью.

НОЧНОЙ ШТОРМ

Когда пароход начинает качать —
из-за домов, из мрака
выходит на берег поскучать
знакомая мне собака.

Где волны грозятся с земли стереть,
клубится пучина злая,
нечего, кажется, ей стеречь,
не на кого лаять.

Высокий вал,
пространство размерив,
растет,
в полете силу развив,
и вспять уходит, об каменный берег
морду свою разбив.

Уходит вал. Приходит другой,—
сидит собака — ни в зуб ногой.
Все люди ушли, однако
упорно сидит собака.

Закрыты подъезды. Выключен свет.
Лишь поздний пройдет гуляка.

Давно уже время домой. Ан нет —
все так же сидит собака.

Все так же глядит на ревущий вал.
И я сознаться не трушу,
что в этой собаке предполагал
родственную мне душу.

Так, как ее, с недавней поры,
гудя, рокоча, звеня,
море вытаскивает из конуры
и тащит к себе меня.

Разве я знал, что брызги твои,
что черная эта вода
крепче вина, солоней любви,
сильней моего труда?

Темным-темно,
ревет, грубя.
Я здесь давно.
Я слышу тебя.

Пусть все уйдут,
пробив отбой.
Я здесь. Я тут.
Я рядом с тобой.

Меня одного тут тоска зажала.
Стою один —
ни огней,
ни звезд.
И даже собака, поджавши хвост,
стыдливой трусцою домой сбежала.

Так те, что твой обожают покой,
твое под солнцем мерцанье,
спокойно уедут.
И даже рукой
забудут махнуть на прощанье.

А полюбившие берег седой
и мерное волн рокотанье
водопроводной пресной водой
смоют воспоминанья.

Куда мне умчаться, себя кляня,
как мне о черной забыть волне,
если оно ворвалось в меня,
если клокочет оно во мне?

Куда ни направлю отсюда шаг,
в какую ни кинет меня полосу —
шум его унесу в ушах
и цвет его в глазах унесу.

Волна за волною ревет, крутясь,
а я один — уже столько лет! —
стою, устало облокотясь
на этот каменный парапет.

Будто от тела руку свою,
себя от него оторвать не могу.
Как одержимый стою и стою
на залитом пеною берегу...

ДОРОГА НА ЯЛТУ

Померк за спиною вагонный пейзаж.
В сиянье лучей золотящих
заправлен автобус,
запрятан багаж
в пыльный багажный ящик.

Пошире теперь раскрывай глаза.
Здесь все для тебя:
от земли до небес.
Справа — почти одни чудеса,
слева — никак не меньше чудес.

Ручьи,
виноградники,
петли дороги,
увитые снегом крутые отроги,
пустынные склоны,
отлогие скаты —
все без исключения,
честное слово! —
частью — до отвращенья лилово,
а частью — так себе, лиловато.

За поворотом — другой поворот.
Стоят деревья различных пород.
А мы вот — неутомимо,
сначала под солнцем,
потом в полумгле —
летим по кремнистой крымской земле,
стремнин и строений мимо.

И, как завершенье, внизу, в глубине,
под звездным небом апреля,
по берегу моря —
вечерних огней
рассыпанное ожерелье.

Никак не пойму, хоть велик интерес,
сущность явления:
вроде
звезды на землю сошли с небес,
а может —
огни в небеса уходят.

Меж дивных красот — оглушенный — качу,
да быстро приелась фантазия:
хочу от искусства, от жизни хочу
побольше разнообразия.

А впрочем — и так хорошо в Крыму:
апрельская ночь в голубом дыму,
гора — в ледяной короне.
Таким величием он велик,
что я бы совсем перед ним поник,
да выручила ирония.

МИЛЫЕ КРАСАВИЦЫ РОССИИ



ПРЯХА

Раскрашена розовым палка,
дощечка сухая темна.
Стучит деревянная прялка.
Старуха сидит у окна.

Бегут, утончаясь от бега,
в руке осторожно гудя,
за белою ниткою снега
весенняя нитка дождя.

Ей тысяча лет, этой пряхе,
а прядей не видно седых.
Работала при Мономахе,
при правнуках будет твоих.

Ссыпается ей на колени
и стук партизанских колес,
и пепел сожженных селений,
и желтые листья берез.

Прядет она ветер и зори,
и мирные дни и войну,
и волны свободные моря,
и радиостанций волну.

С неженскою гордой любовью
она не устала сучить
и нитку, намокшую кровью,
и красного знамени нить.

Декабрь сменяется маем,
цветы окружают жилье,
идут наши дни, не смолкая,
сквозь темные пальцы ее.

Суровы глаза голубые,
сияние молний в избе.
И ветры огромной России
скорбят и ликуют в трубе.

ПОРТРЕТ

Сносились мужские ботинки,
армейское вышло белье,
но красное пламя косынки
всегда освещало ее.

Любила она, как отвагу,
как средство от всех неудач,
кусочек октябрьского флага —
осеннего вихря кумач.

В нем было бессмертное что-то:
останется угол платка,
как красный колпак санкюлота
и черный венок моряка.

Когда в тишину кабинетов
ее увлекали дела —
сама революция это
по каменным лестницам шла.

Такие на резких плакатах
печатались в наши года
прямые черты делегаток.
молчащие лица труда.

АЛЕНУШКА

У моей двоюродной
сестрички
твердый шаг
и мягкие косички.

Аккуратно
платьице пошито.
Белым мылом
лапушки помыты.

Под бровями
в солнечном покое
тихо светит
небо голубое.

Нет на нем ни облачка,
ни тучки.
Детский голос.
Маленькие ручки.

И повязан крепко,
для примера,
красный галстук —
галстук пионера.

Мы храним —
Аленушкино братство —
нашей Революции
богатство.

Вот она стоит
под небосводом,
в чистом поле,
в полевом венке —
против вашей
статуи Свободы
с атомным светильником
в руке.

МИЛЫЕ КРАСАВИЦЫ РОССИИ

В буре электрического света
умирает юная Джульетта.

Праздничные ярусы и ложи
голосок Офелии тревожит.

В золотых и темно-синих блестках
Золушка танцует на подмостках.

Наши сестры в полутемном зале,
мы о вас еще не написали.

В блиндажах подземных, а не в сказке
наши жены примеряли каски.

Не в садах Перро, а на Урале
вы золою землю удобряли.

На носилках длинных под навесом
умирали русские принцессы.

Возле, в государственной печали,
тихо пулеметчики стояли.

Сняли вы бушлаты и шинели,
старенькие туфельки надели.

Мы еще оденем вас шелками,
плечи вам согреем соболями.

Мы построим вам дворцы большие,
милые красавицы России.

Мы о вас напишем сочиненья,
полные любви и удивленья.

ПЕРВЫЙ БАЛ

Позабыты шахматы и стирка,
брошены вязанье и журнал.
Наша взбудоражена квартирка:
Галя собирается на бал.

В именинной этой атмосфере,
в этой бескорыстной суете
хлопают стремительные двери,
утюги пылают на плите.

В пиджаках и кофтах Москвошвея,
критикуя и хваля наряд,
добрые волшебники и феи
в комнатенке Галиной шумят.

Счетовод районного Совета
и немолодая травести —
все хотят хоть маленькую лепту
в это дело общее внести.

Словно грешник посредине рая,
я с улыбкой смутною стою,
медленно — сквозь шум — припоминая
молодость суровую свою.

Девушки в лицованных жакетках,
юноши с лопатами в руках —
на площадках первой пятилетки
мы и не слыхали о балах.

Разве что под старую трехрядку,
упираясь пальцами в бока,
кто-нибудь на площади вприсядку
в праздники отхватит трепака.

Или, обтянув косоворотку,
в клубе у Кропоткинских ворот
«Яблочко» матросское с охоткой
вузовец на сцене оторвет.

Наши невзыскательные души
были заворожены тогда
музыкой ликующего туша,
маршами ударного труда.

Но, однако, те воспоминанья,
бесконечно дорогие нам,
я ни на какое осмеянье
никому сегодня не отдам.

И в иносказаниях туманных,
старичку брюзгливому под стать,
нынешнюю молодость не стану
в чем-нибудь корить и упрекать.

Собирайся, Галя, поскорее,
над прической меньше хлопочи —
там уже, вытягивая шеи,
первый вальс играют трубачи.

И давно стоят молодцевато
на парадной лестнице большой
с красными повязками ребята
в ожиданье сверстницы одной.

...Вновь под нашей кровлею помалу
жизнь обыкновенная идет:
старые листаются журналы,
пешки продвигаются вперед.

А вдали, как в комсомольской сказке,
за овитым инеем окном
русская девчонка в полумаске
кружится с вьетнамским пареньком.

ПЕСЕНКА

Там, куда проложена
путь-дорога торная,
мирно расположена
фабрика Трехгорная.

Там, как полагается,
новая и вечная
вьется-навивается
нитка бесконечная.

Вслед за этой ниточкой
ходит по-привычному
Рита-Маргариточка,
молодость фабричная.

Руки ее скорые
тем лишь озабочены,
чтоб текла по-спорому
ровная уточина.

Пусть она и модница,
но не привередница.
Русская работница,
дедова наследница.

С нею здесь не носятся,
будто с исключением,
но зато относятся
с добрым уважением.

Быстрая и славная,
словно бы играючи,
ходит полноправная
ловкая хозяечка.

В синеньком халатике,
словно на плакатике.
В красненькой косыночке,
словно на картиночке.

ПОД МОСКВОЙ

Не па пляже и не на ЗИМе,
не у входа в концертный зал,—
я глазами тебя своими
в тесной кухоньке увидал.

От работы и керосина
закраснелось твое лицо.
Ты стирала с утра для сына
обиходное бельецо.

А за маленьким за оконцем,
белым блеском сводя с ума,
стыла, полная слез и солнца,
раннеутренняя зима.

И как будто твоя сестричка,
за полянками, за леском
быстро двигалась электричка
в упоении трудовом.

Ты возникла в моей вселенной,
в удивленных глазах моих
из светящейся мыльной пены
да из пятнышек золотых.

Обнаженные эти руки,
увлажнившиеся водой,
стали близкими мне до муки
и смущенности молодой.

Если б был я в тот день смелее,
не раздумывал, не гадал —
обнял сразу бы эту шею,
эти пальцы б поцеловал.

Но ушел я тогда смущенно,
только где-то в глуби светясь.
Как мы долго вас ищем, жены,
как мы быстро теряем вас.

А на улице, в самом деле,
от крылечка наискосок
снеговые стояли ели,
подмосковный скрипел снежок.

И хранили в тиши березы
льдинки светлые на ветвях,
как скупые мужские слезы,
не утертые второпях.

ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА ЛИДА

Вдоль маленьких домиков белых
акация душно цветет.
Хорошая девочка Лида
на улице Южной живет.

Ее золотые косицы
затянуты, будто жгуты.
По платью, по синему ситцу,
как в поле, мелькают цветы.

И вовсе, представьте, неплохо,
что рыжий пройдоха апрель
бесшумной пыльцою веснушек
засыпал ей утром постель.

Не зря с одобреньем веселым
соседи глядят из окна,
когда на занятия в школу
с портфелем проходит она.

В оконном стекле отражаясь,
по миру идет не спеша

хорошая девочка Лида.
Да чем же
она
хороша?

Спросите об этом мальчишку,
что в доме напротив живет.
Он с именем этим ложится
и с именем этим встает.

Недаром на каменных плитах,
где милый ботинок ступал,
«Хорошая девочка Лида»,—
в отчаянье он написал.

Не может людей не растрогать
мальчишки упрямого пыл.
Так Пушкин влюблялся, должно быть,
так Гейне, наверно, любил.

Он вырастет, станет известным,
покинет пенаты свои.
Окажется улица тесной
для этой огромной любви.

Преграды влюбленному нету:
смущенье и робость — вранье!
На всех перекрестках планеты
напишет он имя ее.

На полюсе Южном — огнями,
пшеницей — в кубанских степях,
на русских полянах — цветами
и пеной морской — на морях.

Он в небо залезет ночное,
все пальцы себе обожжет,
но вскоре над тихой Землею
созвездие Лиды взойдет.

Пусть будут ночами светиться
над снами твоими, Москва,
на синих небесных страницах
красивые эти слова.

МАМА

Добра моя мать. Добра, сердечна.
Приди к ней — увенчанный и увечный —
делиться удачей, печаль скрывать —
чайник согреет, обед поставит,
выслушает, ночевать оставит:
сама — на сундук, а гостям — кровать.

Старенькая. Ведь видала виды,
знала обманы, хулу, обиды.
Но не пошло ей ученье впрок.
Окна погасли. Фонарь погашен.
Только до позднего в комнате нашей
теплится радостный огонек.

Это она над письмом склонилась.
Не позабыла, не поленилась —
пишет ответы во все края:
кого — пожалеет, кого — поздравит,
кого — подбодрит, а кого — поправит.
Совесть людская. Мама моя.

Долго сидит она над тетрадкой,
отодвигая седую прядку
(дельная — рано ей на покой),

глаз утомленных не закрывая,
ближних и дальних обогревая
своею лучистою добротой.

Всех бы приветила, всех сдружила,
всех бы знакомых переженила.
Всех бы людей за столом собрать,
а самой оказаться — как будто! — лишней,
сесть в уголок и оттуда неслышно
за шумным праздником наблюдать.

Мне бы с тобою все время ладить,
все бы морщины твои разгладить.
Может, затем и стихи пишу,
что, сознавая мужскую силу,
так, как у сердца меня носила,
в сердце своем я тебя ношу.

ДАВНЫМ-ДАВНО

Давным-давно, еще до появленья,
я знал тебя, любил тебя и ждал.
Я выдумал тебя, мое стремленье,
моя печаль, мой верный идеал.

И ты пришла, заслышав ожиданье,
узнав, что я заранее влюблен,
как детские идут воспоминанья
из глубины покинутых времен.

Уверясь в том, что это образ мой,
что создан он мучительной тоскою,
я любовался вовсе не тобою,
а вымысла бездушною игрой.

Благодарю за смелое ученье,
за весь твой смысл, за все —
за то, что ты
была не только рабским воплощеньем,
не только точной копией мечты:

исполнена таких духовных сил,
так далека от всякого притворства,

как наглый блеск созвездий бутафорских
далек от жизни истинных светил;

настолько чистой и такой сердечной,
что я теперь стою перед тобой,
навеки покоренный человечной,
стремительной и нежной красотой.

Пускай меня мечтатель не осудит:
я радуюсь сегодня за двоих
тому, что жизнь всегда была и будет
намного выше вымыслов моих.

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Татьяне

Не надо роскошных нарядов,
в каких щеголять на балах,—
пусть зимний снежок Ленинграда
тебя одевает впотьмах.

Я радуюсь вовсе недаром
усталой улыбке твоей,
когда по ночным тротуарам
идем мы из поздних гостей.

И, падая с темного неба,
в тишайших державных ночах
кристальные звездочки снега
блестят у тебя на плечах.

Я ночью спокойней и строже,
и радостно мне потому,
что ты в этих блестках похожа
на русскую зи́му-зиму́.

Как будто по стежке-дорожке,
идем по проспекту домой.

Тебе бы еще бы сапожки
да белый платок пуховой.

Я, словно родную науку,
себе осторожно твержу,
что я твою белую руку
покорно и властно держу...

Когда открываются рынки,
у запертых на ночь дверей
с тебя я снимаю снежинки,
как Пушкин снимал соболей.

СТАРАЯ КВАРТИРА

Как знакома мне старая эта квартира!
Полумрак коридора, как прежде, слепит,
как всегда, повторяя движение мира,
на пустом подоконнике глобус скрипит.

Та же сырость в углу. Так же тянет от окон.
Так же папа газету сейчас развернет.
И по радио голос певицы далекой
ту же русскую песню спокойно поет.

Только нету того, что единственно надо,
что, казалось, навеки связало двоих:
одного твоего утомленного взгляда,
невеселых, рассеянных реплик твоих.

Нету прежних заминок, неловкости прежней,
ощущенья, что сердце летит под откос,
нету только твоих нарочито небрежно
перехваченных ленточкой светлых волос.

Я не буду, как в прежние годы, метаться,
возле окон чужих до рассвета ходить;
мне бы только в берлоге своей отлежаться,
только имя твое навсегда позабыть.

Но и в полночь я жду твоего появленья,
но и ночью, на острых своих каблуках,
ты бесшумно проходишь, мое сновиденье,
по колени в неведомых желтых цветах.

Мне туда бы податься из маленьких комнат,
где целителен воздух в просторах полей,
где никто мне о жизни твоей не напомнит
и ничто не напомнит о жизни твоей.

Я иду по осенней дороге, прохожий.
Дует ветер, глухую печаль шевеля.
И на памятный глобус до боли похожа
вся летящая в тучах родная земля.

КРЫМСКИЕ КРАСКИ

Красочна крымская красота.
В мире палитры богаче нету.
Такие встречаются здесь цвета,
что и названья не знаешь цвету.

Тихо скатясь с горы крутой,
день проплывет, освещая кущи:
красный,
оранжевый,
золотой,
синенький,
синеватый,
синющий.

У городских простояв крылец,
скроется вновь за грядою горной:
темнеющий,
темный,
и под конец —
абсолютно черный.

Но, в окруженье тюльпанов да роз,
я не покрылся забвенья ряской:

светлую дымку твоих волос
Крым никакой не закрасит краской.

Ночью — во сне, а днем — наяву,
вдруг расшумевшись и вдруг затихая,
тебя вспоминаю, тебя зову,
тебе пишу, о тебе вздыхаю.

Средь этаких круч я стал смелей,
я шире стал на таком просторе.
У ног моих
цвета любви моей —
плещет, ревет, замирает море.

* * *

Ты все молодишься. Все хочешь
забыть, что к закату идешь:
где надо смеяться — хохочешь,
где можно заплакать — поешь.

Ты все еще жаждешь обманом
себе и другим доказать,
что юности легким туманом
ничуть не устала дышать.

Найдешь ли свое избавленье,
уйдешь ли от боли своей
в давно надоевшем круженье,
в свечении праздных огней?

Ты мечешься, душу скрывая
и горькие мысли тая,
но я-то доподлинно знаю,
в чем кроется сущность твоя.

Но я-то отчетливо вижу,
что смысл недомолвок твоих
куда человечней и ближе
актерских повадок пустых.

Но я-то давно вдохновеньем
считать без упрека готов
морщинки твои — дуновенье
сошедших со сцены годов.

Пора уже маску позерства
на честную позу сменить.
Затем, что довольно притворства
и правдою, трудной и черствой,
у нас полагается жить.

Глаза, устремленные жадно.
Часов механический бой.
То время шумит беспощадно
над бедной твоей головой.

КАТЮША

Прощайте, милая Катюша.
Мне грустно, если между дел
я вашу радостную душу
рукой нечаянно задел.

Ужасна легкая победа.
Нет, право, лучше скучным быть,
чем остряком и сердцеедом
и обольстителем прослыть.

Я сам учился в этой школе.
Сам курсы девичьи прошел:
«Я к вам пишу — чего же боле?..»
«Не отпирайтесь. Я прочел...»

И мне в скитаньях и походах
пришлось лукавить и хитрить,
и мне случалось мимоходом
случайных девочек любить.

Но как он страшен, посвист старый,
как от мечтаний далека
ухмылка наглая гусара,
гусара наглая рука.

Как беспощадно пробужденье,
когда она молчит,
когда,
ломая пальчики,
в смятенье,
бежит — неведомо куда:
к опушке, в тонкие березы,
в овраг — без голоса рыдать.

Не просто было эти слезы
дешевым пивом запивать.

Их и сейчас еще немало,
хотя и близок их конец,
мужчин красивых и бывалых,
хозяев маленьких сердец.

У них уже вошло в привычку
влюбляться в женщину шутя:
под стук колес,
под вспышку спички,
под шум осеннего дождя.

Они идут, вздыхая гадко,
походкой любящих отцов.
Бегите, Катя, без оглядки
от этих дивных подлецов.

Прощайте, милая Катюша.
Благодарю вас за привет,
за музыку, что я не слушал,
за то, что вам семнадцать лет;

за то, что город ваш просторный,
в котором я в апреле жил,
перед отъездом, на платформе,
я, как мальчишка, полюбил.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Валентиной
Климовичи дочку назвали.
Это имя мне дорого —
символ любви.
Валентина Аркадьевна.
Валенька.
Валя.
Как поют,
как сияют
твои соловьи!

Три весны
прошумели над нами,
как птицы,
три зимы
намели-накрутили снегов.
Не забыта она
и не может забыться:
все мне видится,
помнится,
слышится,
снится,
все зовет,

все ведет,
все тоскует —
любовь.

Если б эту тоску
я отдал океану —
он бы волны катал,
глубиною гудел,
он стонал бы и мучился
как окаянный,
а к утру,
что усталый старик,
поседел.

Если б с лесом,
шумящим в полдневном веселье,
я бы смог поделиться
печалью своей —
корни б сжались, как пальцы,
стволы заскрипели,
и осыпались
черные листья с ветвей.

Если б звонкую силу,
что даже поныне
мне любовь
вдохновенно и щедро дает,
я занес бы
в бесплодную сушу пустыни
или вынес
на мертвенный царственный лед —
расцвели бы деревья,
светясь на просторе,
и во имя моей,

Валентина, любви
рокотало бы
теплое синее море,
пели в рощах вечерних
одни соловьи.

Как ты можешь теперь
оставаться спокойной,
между делом смеяться,
притворно зевать
и в ответ на мучительный выкрик,
достойно
опуская большие ресницы, скучать?

Как ты можешь казаться
чужой,
равнодушной?
Неужели
забавою было твоей
все, что жгло мое сердце
коверкало душу,
все, что стало
счастливою мукой моей?

Как-никак —
а тебя развенчать не посмею.
Что ни что —
а тебя позабыть не смогу.
Я себя не жалел,
а тебя пожалею.
Я себя не сберег,
а тебя сберегу.

ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ

Верь мне, дорогая моя.
Я эти слова говорю с трудом,
но они пройдут по всем городам
и войдут, как странники, в каждый дом.

Я вырвался наконец из угла
и всем хочу рассказать про это:
ни звезд, ни гудков —
за окном легла
майская ночь накануне рассвета.

Столько в ней силы и чистоты,
так бьют в лицо предрассветные стрелы —
будто мы вместе одни, будто ты
прямо в сердце мое посмотрела.

Отсюда, с высот пяти этажей,
с вершины любви, где сердце тонет,
весь мир — без крови, без рубежей —
мне виден, как на моей ладони.

Гор — не измерить и рек — не счесть,
и все в моей человечьей власти.

Наверное, это как раз и есть,
что называется,— полное счастье.

Вот гляди: я поднялся, стал,
подошел к столу — и, как ни странно,
этот старенький письменный стол
заиграл звучнее органа.

Вот я руку сейчас подниму
(мне это не трудно — так, пустяки) —
и один за другим, по одному
на деревьях распустятся лепестки.

Только слово скажу одно,
и, заслышав его, издалека,
бесшумно, за звеном звено,
на землю опустятся облака.

И мы тогда с тобою вдвоем,
полны ощущенья чистейшего света,
за руки взявшись, меж них пройдем,
будто две странствующие кометы.

Двадцать семь лет неудач — пустяки,
если мир —
                    в честь любви —
                                        украсили флаги,
и я, побледнев, пишу стихи
о тебе
          на листьях нотной бумаги.

ОПЯТЬ НАЧИНАЕТСЯ СКАЗКА

Свечение капель и пляска.
Открытое ночью окно.
Опять начинается сказка
на улице, возле кино.

Не та, что придумана где-то,
а та, что течет надо мной,
сопутствует мраку и свету,
в пыли существует земной.

Есть милая тайна обмана,
журчащее есть волшебство
в струе городского фонтана,
в цветных превращеньях его.

Я, право, не знаю, откуда
свергаются тучи, гудя,
когда совершается чудо
шумящего в листьях дождя.

Как чаша содружества брагой,
московская ночь до окна
наполнена темною влагой,
мерцанием капель полна.

Мне снова сегодня семнадцать.
По улицам детства бродя,
мне нравится петь и смеяться
под зыбкою кровлей дождя.

Я вновь осенен благодатью
и встречу сегодня впотьмах
принцессу в коротеньком платье,
с короной дождя в волосах.

* * *

Я напишу тебе стихи такие,
каких еще не слышала Россия.

Такие я тебе открою дали,
каких и марсиане не видали.

Сойду под землю и взойду на кручи,
открою волны и отмерю тучи.

Как мудрый бог, парящий надо всеми,
отдам пространство и отчислю время.

Я положу в твои родные руки
все сказки мира, все его науки.

Отдам тебе свои воспоминанья,
свой легкий вздох и трудное молчанье.

Я награжу тебя, моя отрада,
бессмертным словом и предсмертным
взглядом.

И все за то, что утром у вокзала
ты так легко меня поцеловала.

МАЙСКИЙ ВЕЧЕР

Солнечный свет. Перекличка птичья.
Черемуха — вот она, невдалеке.
Сирень у дороги. Сирень в петличке.
Ветки сирени в твоей руке.

Чего ж, сероглазая, ты смеешься?
Неужто опять над любовью моей?
То глянешь украдкой. То отвернешься.
То щуришься из-под широких бровей.

И кажется: вот еще два мгновенья,
и я в этой нежности растворюсь,—
стану закатом или сиренью,
а может, и в облако превращусь.

Но только, наверное, будет скушно
не строить, не радоваться, не любить —
расти на поляне иль равнодушно,
меняя свои очертания, плыть.

Не лучше ль под нашими небесами
жить и работать для счастья людей,
строить дворцы, управлять облаками,
стать командиром грозы и дождей?

Не веселее ли, в самом деле,
взрастить возле северных городов
такие сады, чтобы птицы пели
на тонких ветвях про нашу любовь?

Чтоб люди, устав от железа и пыли,
с букетами, с венчиками в глазах,
как пьяные между кустов ходили
и спали на полевых цветах.

ДОЧЬ НАЧАЛЬНИКА ШАХТЫ

Дочь начальника шахты
в коричневом теплом платке —
на санях невесомых,
и вожжи в широкой руке.

Поглядела и скрылась,
побыла полминуты — и нет.
Только снег заметает
полозьев струящийся след.

А глаза у нее —
верьте мне — золоты и черны,
словно черное золото,
уголь Советской страны.

Я бы эти глаза
до тех пор бы хотел целовать,
чтобы золоту — черным
и черному — золотом стать.

На щеке ее родинка —
знак подмосковной весны,
словно пятнышко Родины,
будто отметка страны.

Только я одиноко
в снегу по колено стою,
увидав свою радость,
утративши радость свою.

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ



МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Нам время не даром дается.
Мы трудно и гордо живем.
И слово трудом достается,
и слава добыта трудом.

Своей безусловною властью,
от имени сверстников всех,
я проклял дешевое счастье
и легкий развеял успех.

Я строил окопы и доты,
железо и камень тесал,
и сам я от этой работы
железным и каменным стал.

Меня — понимаете сами —
чернильным пером не убить,
двумя не прикончить штыками
и в три топора не свалить.

Я стал не большим, а огромным —
попробуй тягаться со мной!
Как Башни Терпения, домны
стоят за моею спиной.

Я стал не большим, а великим,
раздумье лежит на челе,
как утром небесные блики
на выпуклой голой земле.

Я начал — векам в назиданье —
на поле вчерашней войны
торжественный день созиданья
строительный праздник страны.

ВОЗВРАЩЕННАЯ РОДИНА

17 сентября 1939 года
части Красной Армии
вошли в город Луцк.

Я родился в уездном городке
и до сих пор с любовью вспоминаю
убогий домик, выстроенный с краю
проулка, выходившего к реке.

Мне голос детства памятен и слышен.
Хранятся смутно в памяти моей
гуденье липы и цветенье вишен,
торговцев крик и ржанье лошадей.

Мне помнятся вечерние затоны,
вельможные брюхатые паны,
сияющие крылья фаэтонов
и офицеров красные штаны.

Здесь я и рос. Под этим утлым кровом
я, спотыкаясь, начинал ходить,
здесь услыхал — впервые в жизни! — слово,
и здесь я научился говорить.

Так мог ли я, изъездивший полсвета,
за воду ту, что он давал мне пить,
за горький хлеб, за легкий лепет лета,
за первый день — хотя бы лишь за это —
тот городок уездный не любить?

Нет, я не знал беспечного покоя:
мне снилась ночью нищая страна,
бетонною, враждебною чертою,
прямым штыком и пулей разрывною
от сердца моего отделена.

Я думал о товарищах своих,
оставшихся влачить существованье
в местечках страха, в городках стенанья,
в домах тоски на улицах кривых.

Я вспоминал о детях воеводства,
где на полях один пырей возрос,
где хлеба — впроголодь, а горя — вдосталь
и вдоволь, вволю материнских слез.

Так как же мне, советскому поэту,
не славить вас, бойцы моей земли,
за жизни шум — хотя бы лишь за это! —
хотя б за то, что в желтых тучах света
в мой городок вы с песнею вошли?

НА ВОКЗАЛЕ

Шумел снежок над позднею Москвой,
гудел народ, прощаясь на вокзале,
в тот час, когда в одежде боевой
мои друзья на север уезжали.

И было видно всем издалека,
как непривычно на плечах сидели
тулупчики, примятые слегка,
и длинные армейские шинели.

Но было видно каждому из нас
по сдержанным попыткам веселиться,
по лицам их,— запомним эти лица! —
по глубине глядящих прямо глаз,

да, было ясно всем стоящим тут,
что эти люди, выйдя из вагона,
неотвратимо, прямо, непреклонно
походкою истории пройдут.

Как хочется, как долго можно жить,
как ветер жизни тянет и тревожит!
Как снег валится!

Но никто не сможет,
ничто не сможет их остановить.

Ни тонкий свист смертельного снаряда,
ни злобный гул далеких батарей,
ни самая тяжелая преграда —
молчанье жен и слезы матерей.

Что ж делать, мать?
У нас давно ведется,
что вдаль глядят любимые сыны,
когда сердец невидимо коснется
рука патриотической войны.

В расстегнутом тулупчике примятом
твой младший сын, упрямо стиснув рот,
с путевкой своего военкомата,
как с пропуском, в бессмертие идет.

* * *

Луну закрыли горестные тучи.
Без остановки лает пулемет.
На белый снег,
на этот снег скрипучий
сейчас красноармеец упадет.

Второй стоит.
Но, на обход надеясь,
оскалив волчью розовую пасть,
его в затылок бьет белогвардеец.
Нет, я не дам товарищу упасть.

Нет, я не дам.
Забыв о расстоянье,
кричу в упор, хоть это крик пустой,
всей кровью жизни,
всем своим дыханьем:
«Стой, время, стой!»

Я так кричу, объятый вдохновеньем,
что эхо возвращается с высот
и время неохотно, с удивленьем,
тысячелетний тормозит полет.

И сразу же, послушные приказу,
звезда не блещет, птица не летит,
и ветер жизни остановлен сразу,
и ветер смерти рядом с ним стоит.

И вот уже, по манию, заснули
орудия, заставы и войска.
Недвижно стынет разрывная пуля,
не долетев до близкого виска.

Тогда герои памятником встанут,
забронзовеют брови их и рты,
и каменными постепенно станут
товарищей знакомые черты.

Один стоит,
зажатый смертным кругом
(рука разбита, окровавлен рот),
штыком и грудью защищая друга,
всей силой шага двигаясь вперед.

Лежит другой,
не покорясь зловещей
своей кончине в логове врагов,
пытаясь приподняться, хоть и хлещет
из круглой раны бронзовая кровь...

Пусть служит им покамест пьедесталом
не дивный мрамор давней старины —
все это поле,
выложенное талым,
примятым снегом пасмурной страны.

Когда ж домой воротятся солдаты,
и на земле восторжествует труд,
и поле битвы станет полем жатвы,
и слезы горя матери утрут,—
пусть женщины, печальны и просты,
к ним, накануне праздников, приносят
шумящие пшеничные колосья
и красные июльские цветы.

1 ЯНВАРЯ 1941 ГОДА

Так повелось, что в серебре метели,
в глухой тиши декабрьских вечеров,
оставив лес, идут степенно ели
к далеким окнам шумных городов.

И, веселясь, торгуют горожане
для украшенья жительниц лесных
базарных нитей тонкое сиянье
и грубый блеск игрушек расписных.

Откроем дверь: пусть в комнаты сегодня
в своих расшитых валенках войдет,
осыпан хвоей елки новогодней,
звеня шарами, сорок первый год.

Мы все готовы к долгожданной встрече:
в торжественной минутной тишине
покоем дышат пламенные печи,
в ладонях елок пламенеют свечи,
и пляшет пламень в искристом вине.

В преддверье сорок первого, вначале
мы оценить прошедшее должны.

Мои товарищи сороковой встречали
не за столом, не в освещенном зале —
в жестоком дыме северной войны.

Стихали орудийные раскаты,
и слушал затемненный Ленинград,
как чокались гранаты о гранату,
штыки о штык, приклады о приклад.

Мы не забудем и не забывали,
что батальоны наши наступали,
неудержимо двигаясь вперед,
как наступает легкий час рассвета,
как после вьюги наступает лето,
как наступает сорок первый год.

Прославлен день тот самым громким словом,
когда, разбив тюремные оковы,
к нам сыновья Прибалтики пришли.
Мы рядом шли на празднестве осеннем,
и я увидел в этом единенье
прообраз единения земли.

Еще за то добром помянем старый,
что он засыпал длинные амбары
шумящим хлебом осени своей
и отковал своей рукою спорой
для красной авиации — моторы,
орудия — для красных батарей.

Мы ждем гостей — пожалуйте учиться!
Но если ночью воющая птица
с подарком прилетит пороховым —
сотрем врага. И это так же верно,
как то, что мы вступили в сорок первый
и предыдущий был сороковым.

ПАРЕНЕК

Рос мальчишка, от других отмечен
только тем, что волосы мальца
вились так, как вьются в тихий вечер
ласточки у старого крыльца.

Рос парнишка, видный да кудрявый,
окруженный ветками берез;
всей деревни молодость и слава —
золотая ярмарка волос.

Девушки на улице смеются,
увидав любимца своего,
что вокруг него подруги вьются,
вьются, словно волосы его.

Ах, такие волосы густые,
что невольно тянется рука
накрутить на пальчики пустые
золотые кольца паренька.

За спиной деревня остается,—
юноша уходит на войну.
Вьется волос, длинный волос вьется,
как дорога в дальнюю страну.

Паренька соседки вспоминают
в день, когда, рожденная из тьмы,
вдоль деревни вьюга навевает
белые морозные холмы.

С орденом кремлевским воротился
юноша из армии домой.
Знать, напрасно черный ворон вился
над его кудрявой головой.

Обнимает мать большого сына,
и невеста смотрит на него...
Ты развейся, женская кручина,
завивайтесь, волосы его!

СУДЬЯ

Упал на пашне у высотки
суровый мальчик из Москвы,
и тихо сдвинулась пилотка
с пробитой пулей головы.

Не глядя на беззвездный купол
и чуя веянье конца,
он пашню бережно ощупал
руками быстрыми слепца.

И, уходя в страну иную
от мест родных невдалеке,
он землю теплую, сырую
зажал в коснеющей руке.

Горсть отвоеванной России
он захотел на память взять,
и не сумели мы, живые,
те пальцы мертвые разжать.

Мы так его похоронили —
в его военной красоте —
в большой торжественной могиле
на взятой утром высоте.

И если правда будет время,
когда людей на Страшный суд
из всех земель, с грехами всеми
трикратно трубы призовут,—

предстанет за столом судейским
не бог с туманной бородой,
а паренек красноармейский
пред потрясенною толпой,

держа в своей ладони правой,
помятой немцами в бою,
не символы небесной славы,
а землю русскую, свою.

Он все увидит, этот мальчик,
и ни йоты не простит,
но лесть — от правды, боль — от фальши
и гнев — от злобы отличит.

Он все узнает оком зорким,
с пятном кровавым на груди,
судья в истлевшей гимнастерке,
сидящий молча впереди.

И будет самой высшей мерой,
какою мерить нас могли,
в ладони юношеской серой
та горсть тяжелая земли.

ПЕСНЯ

Мать ждала для сына легкой доли —
сын лежит, как витязь, в чистом поле

В чистом поле, на земле советской,
пулею подкошенный немецкой.

Мать ждала для дочери венчанья,
а досталось дочери молчанье.

Рыжие фельдфебели в подвале
три недели доченьку пытали.

Три недели в сумраке подвала
ничего она им не сказала.

Только за минуту до расстрела
вспомнила про голос и запела.

Ах, не плачет мать и не рыдает,
имена родные повторяет.

Разве она думала-рядила,
что героев Времени растила?

В тонкие пеленки пеленала,
в теплые сапожки обувала.

* * *

Вот опять ты мне вспомнилась, мама,
и глаза твои, полные слез,
и знакомая с детства панама
на венке поредевших волос.

Оттеняет терпенье и ласку,
потемневшая в битвах Москвы,
материнского воинства каска —
украшенье седой головы.

Все стволы, что по русским стреляли,
все осколки чужих батарей
неизменно в тебя попадали,
застревали в одежде твоей.

Ты заштопала их, моя мама,
но они все равно мне видны,
эти грубые длинные шрамы —
беспощадные метки войны...

Дай же, милая, я поцелую,
от волненья дыша горячо,
эту бедную прядку седую
и задетое пулей плечо.

В дни, когда из окошек вагонных
мы глотали движения дым
и считали свои перегоны
по дорогам к окопам своим,

как скульптуры из ветра и стали,
на откосах железных путей
днем и ночью бессменно стояли
батальоны седых матерей.

Я не знаю, отличья какие,
не умею я вас разделять:
ты одна у меня, как Россия,
милосердная русская мать.

Это слово протяжно и кратко
произносят на весях родных
и младенцы в некрепких кроватках,
и солдаты в могилах своих.

Больше нет и не надо разлуки,
и держу я в ладони своей
эти милые трудные руки,
словно руки России моей.

КЛАДБИЩЕ ПАРОВОЗОВ

Кладбище паровозов.
Ржавые корпуса.
Трубы полны забвенья.
Свинчены голоса.

Словно распад сознанья —
полосы и круги.
Грозные топки смерти.
Мертвые рычаги.

Градусники разбиты:
цифирки да стекло —
мертвым не нужно мерить,
есть ли у них тепло.

Мертвым не нужно зренья —
выкрошены глаза.
Время вам подарило
вечные тормоза.

В ваших вагонах длинных
двери не застучат,
женщина не засмеется,
не запоет солдат.

Вихрем песка ночного
будку не занесет.
Юноша мягкой тряпкой
поршни не оботрет.

Больше не раскалятся
ваши колосники.
Мамонты пятилеток
сбили свои клыки.

Эти дворцы металла
строил союз труда:
слесари и шахтеры,
села и города.

Шапку сними, товарищ.
Вот они, дни войны.
Ржавчина на железе,
щеки твои бледны.

Произносить не надо
ни одного из слов.
Ненависть молча зреет,
молча цветет любовь.

Тут ведь одно железо.
Пусть оно учит всех.
Медленно и спокойно
падает первый снег.

* * *

Там, где звезды светятся в тумане,
мерным шагом ходят марсиане.

На холмах монашеского цвета
ни травы и ни деревьев нету.

Серп не жнет, подкова не куется,
песня в тишине не раздается.

Нет у них ни счастья, ни тревоги —
все отвергли маленькие боги.

И глядят со скукой марсиане
на туман и звезды мирозданья.

...Сколько раз, на эти глядя дали,
о величье мы с тобой мечтали!

Сколько раз стояли мы смиренно
перед грозным заревом вселенной!

...У костров солдатского привала
нас иное пламя озаряло.

На морозе, затаив дыханье,
выпили мы чашу испытанья.

Молча братья умирали в ротах.
Пели школьницы на эшафотах.

И решили пехотинцы наши
вдоволь выпить из победной чаши.

Было марша нашего начало,
как начало горного обвала.

Пыль клубилась. Пенились потоки.
Трубачи трубили, как пророки.

И солдаты медленно, как судьи,
наводили тяжкие орудья.

Дым сраженья и труба возмездья.
На фуражках алые созвездья.

...Спят поля, засеянные хлебом.
Звезды тихо освещают небо.

В темноте над братскою могилой
пять лучей звезда распространила.

Звезды полуночные России.
Звездочки армейские родные.

...Телескопов точное мерцанье
мне сегодня чудится вдали:
словно дети, смотрят марсиане
на Великих жителей Земли.

ЗЕМЛЯ

Тихо прожил я жизнь человечью:
ни бурана, ни шторма не знал,
по волнам океана не плавал,
в облаках и во сне не летал.

Но зато, словно юность вторую,
полюбил я в просторном краю
эту черную землю сырую,
эту милую землю мою.

Для нее, ничего не жалея,
я лишался покоя и сна,
стали руки большие темнее,
но зато посветлела она.

Чтоб ее не кручинились кручи
и глядела она веселей,
я возил ее в тачке скрипучей,
так, как женщины возят детей.

Я себя признаю виноватым,
но прощенья не требую в том,
что ее подымал я лопатой
и валил на колени кайлом.

Ведь и сам я, от счастья бледнея,
зажимая гранату свою,
в полный рост поднимался над нею
и, простреленный, падал в бою.

Ты дала мне вершину и бездну,
подарила свою широту.
Стал я сильным, как терн, и железным —
даже окиси привкус во рту.

Даже жесткие эти морщины,
что на лбу и по щекам прошли,
как отцовские руки у сына,
по наследству я взял у земли.

Человек с голубыми глазами,
не стыжусь и не радуюсь я,
что осталась земля под ногтями
и под сердцем осталась земля.

Ты мне небом и волнами стала,
колыбель и последний приют...
Видно, значишь ты в жизни немало,
если жизнь за тебя отдают.

НА МОГИЛЕ ГЕРОЕВ

У насыпи братской могилы
я тихо, как память, стою,
в негнущихся пальцах сжимая
гражданскую шапку свою.

Под темными лапами елей,
в глубокой земле, как во сне,
вы молча и верно несете
сверхсрочную службу стране.

Всей верой своей человечьей,
и мыслью, и сердцем своим
мы верим погибшим солдатам,
и мертвые верят живым.

Одною мы любим любовью
туманные зимние дни,
одни вспоминали мы сказки
и помнили марши одни.

Так вечная слава убитым
и вечная слава живым!
Склонившись, как над колыбелью,
мы в ваши могилы глядим.

И мертвых нетленные очи,
победные очи солдат,
как звезды сквозь облако ночи,
на нас, не мерцая, глядят.

ПЛЕННЫЙ НЕМЕЦ

Длиннорукий, худой, без ремня,
пленный немец глядит на меня.

Он от нашего ветра озяб
и от нашего снега ослаб.

Атлантический выстроил вал,
а от нашей лопаты устал.

Видно, нету земли тяжелей,
чем земля подмосковных полей.

Ты веревку и пулю принес
в царство песен и в царство берез.

Ты пришел сюда княжить, солдат,
да испортился твой автомат.

Оторвались нашивки в боях,
потерялись медали в снегах.

И знамена немецкой страны
у Кремлевской упали стены.

ПЕЙЗАЖ

Над терриконом шахты темно-серым
дождь моросит который день подряд.
Как на вулкане, изверженья серы
виящимися струйками дымят.

Нет синевы, и нет ветвей зеленых.
Сурово блещет небо надо мной,
с него сошли созвездия влюбленных
и разместились в лавах под землей.

Меж тесной грязи рельсы молча лезут,
клубится пар, несется сильный ток.
Здесь торжествуют уголь и железо,
диктаторствуют бур и молоток.

Здесь жизнь и время меряют на тонны.
Здесь лозунги орут и говорят.
Весь день стучат товарные вагоны,
и паровозы свищут и трубят.

И на стене, двухцветная, сырая,
огромная, как милая земля,
в дыму сражений,— карта фронтовая
и черный график черного угля.

Край шумных рощ и праздничного пенья,
мы научились все-таки с тобой
жить в эти дни, отвергнув украшенья,
как голой сутью, голой красотой.

ЗАРИСОВКА

Этот клуб не топился
еще с довоенных времен:
лед сверкает на стенах,
в классе белый сугроб наметен.

Но, не падая духом,
обмотавшись зеленым кашне,
словно птенчик в скворешне,
воркует кассирша в окне.

И директорша клуба,
как бог посредине планет,
сжавши синие губы,
включает рубильником свет.

На промерзшей эстраде,
застегнут, румян и плечист,
с выраженьем бесстрастья
недвижно сидит баянист.

У него на коленях
сундук с сыромятным ремнем.
Все шахтерские танцы
по порядку разложены в нем.

И, как добрый хозяин,
он их выпускает в народ:
вслед за вальсом прелестным
идет нагловатый фокстрот.

ОДА МЛАДШЕМУ ЛЕЙТЕНАНТУ

За широкой стеной кирпичной,
той, что русский народ сложил,
в старой крепости пограничной
лейтенант молодой служил.

Не с прохладцею, а с охотой
в этой крепости боевой
гарнизонную нес работу,
службу родине дорогой.

Служба точная на границе
от зари до второй зари,
незадаром вы на петлицах,
темно-красные кубари.

...Не забудется утро это,
не останется он вдали,
день, когда на Страну Советов
орды двинулись и пошли.

В белорусские наши дали
налетев из земли чужой,
танки длинные скрежетали,
выли бомбы над головой.

Но, из камня вся и металла,
как воротаназаперти,
неподвижная крепость стала
у захватчиков на пути.

Неколебленым был и чистым
этот намертво сбитый сплав:
амбразуры и коммунисты,
редюиты и комсостав.

Ты не знала тогда, Россия,
средь великих своих утрат,
что в тылу у врага живые
пехотинцы твои стоят.

Что на этой земле зеленой
под разводьями облаков
держат страшную оборону
рядовые твоих полков.

За сраженьем — еще сраженье,
за разведкою — снова бой,
и очнулся он в окруженье,
лейтенантик тот молодой.

Не бахвалясь и не канюча,
в пленном лагере, худ и зол,
по-за проволокою колючей
много месяцев он провел.

А когда, нагнетая силу,
до Берлина дошла война,
лейтенанта освободила
дорогая его страна.

Он не каялся, не гордился,
а, уехавши налегке,
как положено, поселился
в русском маленьком городке.

Жил не бедно и не богато,
семьянином заправским стал,
не сутулился виновато,
но о прошлом не вспоминал.

Если ж, выпивши, ветераны
рассуждали о той войне,
он держался заметно странно
и как будто бы в стороне.

...В это время, расчислив планы,
покоряя и ширь и высь,
мы свои залечили раны
и историей занялись.

В погребальные те окопы
по приказу родной земли
инженеры и землекопы
с инструментом своим пришли.

Открывая свои подвалы,
перекрытья своих глубин,
крепость медленно возникала
из безмолвствующих руин.

Проявлялись на стенах зданья
под осыпавшимся песком
клятвы, даты и завещанья,
резко выбитые штыком.

Тихо родина наклонилась
над патетикой гордых слов
и растроганно изумилась
героизму своих сынов.

...По трансляции и газете
из столичного далека
докатилися вести эти
до районного городка.

Скатерть блеском сияет белым,
гости шумные пьют винцо,
просветлело, помолодело
лейтенанта того лицо.

Объявляться ему не к спеху
и неловко героем слыть,
ну, а все ж, запоздняcь, поехал
в славной крепости погостить.

Тут же бывшему лейтенанту
(чтобы время зря не терять)
пионеров и экскурсантов
поручили сопровождать.

Он, витийствовать не умея,
волновал у людей умы.
В залах памятного музея
повстречали его и мы.

В сердце врезался непреклонно
хрипловатый его рассказ,
пиджачок его немудреный
и дешевенький самовяз.

Он пришел из огня и сечи
и, прострелен и обожжен,
ни медалями не отмечен,
ни в реляции не внесен.

Был он раненым и убитым
в достопамятных тех боях.
Но ни гордости, ни обиды
нету вовсе в его глазах.

Это русское, видно, свойство —
нам такого не занимать —
силу собственного геройства
даже в мыслях не замечать.

САПЕРЫ

Уже в Истории все даты,
какие та дала война,
а для саперного солдата
еще не кончилась она.

То вдалеке, то чуть не рядом,
а то совсем под боком, тут,
они немецкие снаряды
из подземелий достают.

И бережно, дыша помалу,
с нерасторопностью своей
несут их утром к самосвалу,
как носят бомбы и детей.

Мы оценить их подвиг тяжкий
по справедливости должны.
Снимайте шляпы и фуражки
перед саперами страны.

РОМАШКА ВЕНЕСУЭЛЫ



РОЖОК

В Музее революции
лежит
среди реликвий
нашего народа
рожок, в который
протрубил Мадрид
начало битв
тридцать шестого года.

Со вмятинами,
тускло-золотой,
украшенный
материей багряной,
в полночный час
под звездной высотой
кастильскому он
снится партизану.

Прикован цепью
к ложу своему,
фашистскими затравлен

палачами,
солдат Свободы
тянется к нему
и шевелит
распухшими губами

Рожок молчащий
молча мы храним,
как вашу славу,
на почетном месте.
Пускай придет,
пускай придет за ним
восставший сын
мадридского предместья.

И пусть опять
меж иберийских скал,
полки республиканские
сзывая,
прокатится
ликующий сигнал
и музыка
раздастся полковая.

...На сборный пункт
по тропам каменистым
отряды пробираются
в ночи.

Сигнальте бой,
сигнальте бой, горнисты,
трубите наступленье,
трубачи!

ИСПАНСКИЕ СТИХИ

Испания!
Мы не забыли
то время,
тот тридцать шестой,
когда мы,
как будущим,
жили
твоею военной судьбой;

тот год,
когда после работы
мы снов
не видали иных,
а только
твои пулеметы
и песни
отрядов твоих;

те дни,
когда, спрятавши книжки,
глаголы
оставив учить,
из школ убегали

мальчишки —
патроны тебе
подносить;

когда,
свою бурку расправив,
как черные
крылья орла,
пред вами
явился Чапаев
и к нам
Ибаррури пришла.

В Москве
за вечернею чашей
тебя
называли порой
подругою младшею
нашей
и нашею
младшей сестрой.

Не верил я
ни на мгновенье
тому,
что палач-генерал
поставил тебя
на колени
и душу твою
растоптал.

Всю ночь
за тюремною дверью
израненный
узник поет.

Я этому
голосу верю:
Испания наша
живет!

Идет металлист
к партизанам,
батрак
в партизаны идет.
И я повторять
не устану:
Испания наша
живет!

Вторую неделю
бастует
чугунолитейный
завод.
Как заповедь,
произношу я:
Испания наша
живет!

Сегодня, как в юности,
снова,
другие
оставив слова,
твержу я
три вещие слова:
Испания наша
жива!

ПАМЯТИ ДИМИТРОВА

Я помню ту общую гордость,
с какой мы следили в тот год
за тем, как отважно и твердо
процесс подсудимый ведет.

Под лейпцигским каменным сводом
над бандой убийц и громил
кружилися ветры Свободы,
когда заключенный входил.

Я помню, как солнце горело,
на зимний взойдя небосвод,
когда из далеких пределов
в Москву прилетел самолет.

Сияли счастливые лица,
исчезла тревожная тень.
И все телефоны столицы
об этом звонили весь день!

*

...Июльского русского лета
бесшумные льются лучи.
За воинской сталью лафета
печально идут москвичи.

До траурных башен вокзала
под небом сплошной синевы
со скорбью Москва провожала
великого друга Москвы.

Мы с вами, болгары. Мы знаем,
что очи славянской страны
сегодня одними слезами,
как чаши печали, полны.

И в горе и в счастье, София,
всегда неизменно с тобой
могучая наша Россия,
как с младшей любимой сестрой.

* * *

Из восставшей колонии
в лучший из дней
лейтенант возвратился
к подруге своей.

Он в Европу привез
из мятежной страны
азиатский подарок
для милой жены.

Недоступен, как бог,
молчалив, загорел,
он на шею жены
ожерелье надел.

Так же молча,
в походе устроив привал,
он на шею мятежника
цепь надевал.

Цепь на шее стрелка
покоренной страны —
и жемчужная нитка
на шее жены...

Мне покамест не надо,
родная страна,
ни спокойного счастья,
ни мирного сна —

только б цепь
с побежденного воина снять
и жемчужную нитку
в молчанье сорвать.

АНГЛИЙСКАЯ БАЛЛАДА

На мыльной кобыле летит гонец:
«Король поручает тебе, кузнец,
сработать из тысячи тысяч колец
платье для королевы».

Над черной кузницей дождь идет.
Вереск цветет. Метель метет.
И днем и ночью кузнец кует
платье для королевы.

За месяцем — месяц, за годом — год
горн все горит и все молот бьет,—
то с лютою злобой кузнец кует
платье для королевы.

Он стал горбатым, а был прямым.
Он был златокудрым, а стал седым.
И очи весенние выел дым
платья для королевы.

Жена умерла, а его не зовут.
Чужие детей на кладби́ще несут.

— Так будь же ты проклят, мой вечный труд —
платье для королевы!

Когда-то я звезды любил считать,
я тридцать лет не ложился спать,
а мог бы за утро одно отковать
цепи для королевы.

НЕГР В МОСКВЕ

Невозможно не вклиниться
в человеческий водоворот —
у подъезда гостиницы
тесно толпится народ.

Не зеваки беспечные,
что на всех перекрестках торчат,—
дюжий парень из цеха кузнечного,
комсомольская стайка девчат.

Искушенный в политике
и по части манер,
в шляпе, видевший видики,
консультант-инженер.

Тут же — словно игрушечка
на кустарном лотке —
боевая старушечка
в темноватом платке.

И прямые, отменные,
непреклонные, как на часах,
молодые военные
в малых — покамест — чинах.

Как положено воинству,
не скрываясь в тени,
с непреложным достоинством
держатся строго они.

Под бесшумными кронами
зеленеющих лип городских —
ни трибун с микрофонами,
ни знамен никаких.

Догадались едва ли вы,
отчего здесь народ:
черный сын Сенегалии
руки белые жмет.

Он, как статуя полночи,
черен, строен и юн.
В нашу русскую елочку
небогатый костюм.

По сорочке подштопанной
узнаем наугад:
не буржуйчик (ах, чтобы им!),
наш, трудящийся брат.

Добродушие голоса,
добродушный зрачок.
Вместо русого волоса —
черный курчавый пушок.

И выходит, не знали мы —
не поверить нельзя,—
что и в той Сенегалии
у России друзья.

Не пример обольщения,
не любовь напоказ,
а простое общение
человеческих рас.

Светит солнце весеннее
над омытой дождями Москвой,
и у всех настроение —
словно праздник какой.

ПЕРВЫЙ ПЛУГ

По главной площади Гвинеи
под рев толпы и бубнов стук,
от наслаждения немея,
несли два черных парня плуг.

Был в плуге этом смысл немалый,
его, до болтика, сполна,
сама, ликуя, отковала
в народной кузнице страна.

Он первым был. И плыл впервые
средь восклицаний и знамен —
мальчишка мирной индустрии,
предтеча будущих времен.

Вся площадь пела и теснилась,
ей показалось неспроста,
что в небе, вслед за ним, струилась
семян и света борозда.

Нисколько я не умаляю
других событий и заслуг,
но душу просто умиляет
освобожденья первый плуг.

Мне представляется все чаще,
все больше ум волнует мой
тот плуг, на крылышках летящий
над африканскою землей.

ПЕСНЯ О КУБЕ

В посольствах, на фабриках, в клубах,
набитых народом сполна,
открыто братается с Кубой
огромная наша страна.

Пускай же о митингах этих,
что длятся почти до утра,
печатают сводки в газете,
вещают вовсю рупора.

Пусть в маленьких клубах предместий,
пока на трибуне доклад,
с ушанками русскими вместе
береты кубинцев лежат.

Россия братается с Кубой,
даря ей величье свое,
и прямо в солдатские губы
заздравно целует ее.

РЕЧЬ ФИДЕЛЯ КАСТРО В НЬЮ-ЙОРКЕ

Зароптал
и захлопал восторженно
зал —
это с дальнего кресла
медлительно встал
и к трибуне пошел —
казуистам на страх —
вождь кубинцев
в солдатских своих башмаках.

Пусть проборам и усикам
та борода
ужасающей кажется —
что за беда?

Ни для сладеньких фраз,
ни для тонких острот
не годится
охрипший ораторский рот.

Непривычны
для их респектабельных мест
твой внушительный рост
и решающий жест.

А зачем их жалеть,
для чего их беречь? —
пусть послушают
эту нелегкую речь.

С ними прямо и грубо —
так время велит —
Революция Кубы
сама
говорит.

На таком же подъеме,
таким языком
разговаривал некогда
наш Совнарком.

И теперь,
если надо друзей защитить,
мы умеем
таким языком говорить.

И теперь,
если надо врагов покарать,
мы умеем
такие же речи держать.

ВЕРНУЛСЯ ТОВАРИЩ

Вернулся в свой город советский
товарищ из той стороны,
куда наши души по-детски
направлены, обращены.

Из той возвратился он дали,
сошел из того далека,
куда так нечасто летали
посланцы России пока.

Он стал как бы выше и шире
и даже красивше, чем был:
не зря в удивительном мире
наш давний товарищ гостил.

Как будто за эту неделю —
средь митингов, пашен и скал —
он все обаянье Фиделя,
всю ту атмосферу впитал.

Наверное, так за границей
рабочие люди глядят,
когда из советской столицы
воротится их делегат.

Он прежний и вроде не прежний,
и братья посланца того,
как мы, изумленно и нежно
все вместе глядят на него.

ПРОПАГАНДА

К нам несут провода
дальний гул Революций.
Мы не лезем туда,
там без нас обойдутся.

Но, однако, не прочь —
русской полною мерой —
пропагандой помочь,
поделиться примером.

Всей земле трудовой,
от пустынь до Европы,
посылаем мы свой
исторический опыт.

Страны южной жары,
знают Куба и Чили,
на кого топоры
наши деды точили.

Средь светящейся тьмы
вдоль Руси деревянной
сотрясались холмы,
словно ваши вулканы.

Не у волжских высот,
не в родимой сторонке —
Стенька Разин плывет
по реке Амазонке.

РОМАШКА ВЕНЕСУЭЛЫ

Из всей земли исполинской
взаправду, а не рисуясь,
Америкою Латинской
все больше интересуюсь.

Журналы всю ночь листая,
вычитывая газеты,
старательно собираю
подробности и приметы.

С мальчишеским прилежаньем,
с монашеской верой в чудо
далекие очертанья
рассматриваю отсюда.

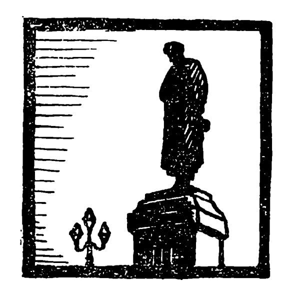
При свете настольной лампы
ты кажешься очень странной,
чужая ночная пампа,
таинственная саванна.

Но вот я узнал впервые,
что там по границам вспашки
растут, как у нас в России
подсолнечник и ромашки.

Мне выразить это трудно,
но есть у земли желанье,
чтоб сблизились обоюдно
гражданские расстоянья.

Поэтому эти строки
тебе посвящаю смело,
рязанский цветок далекий,
ромашка Венесуэлы.

ПОЭТЫ



ЗДРАВСТВУЙ, ПУШКИН!

Здравствуй, Пушкин! Просто страшно это —
словно дверь в другую жизнь открыть —
мне с тобой, поэтом всех поэтов,
бедными стихами говорить.

Быстрый шаг и взгляд прямой и быстрый —
жжет мне сердце Пушкин той поры:
визг полозьев, песня декабристов,
ямбы ссыльных, сказки детворы.

В январе тридцать седьмого года
прямо с окровавленной земли
подняли тебя мы всем народом,
бережно, как сына, понесли.

Мы несли тебя — любовь и горе —
долго и бесшумно, как во сне,
не к жене и не к дворцовой своре —
к новой жизни, к будущей стране.

Прямо в очи тихо заглянули,
окружили нежностью своей,
сами, сами вытащили пулю
и стояли сами у дверей.

Мы твоих убийц не позабыли:
в зимний день, под заревом небес,
мы царю России возвратили
пулю, что послал в тебя Дантес.

Вся Отчизна в праздничном цветенье.
Словно песня, льется вешний свет.
Здравствуй, Пушкин! Здравствуй, добрый гений!
С днем рожденья, дорогой поэт!

НА ПОВЕРКЕ

Бывают дни без фейерверка,
когда огромная страна
осенним утром на поверке
все называет имена.

Ей надо собственные силы
ума и духа посчитать.
Открылись двери и могилы,
разъялась тьма, отверзлась гладь.

Притихла ложь, умолкла злоба,
прилежно вытянулась спесь.
И Лермонтов встает из гроба
и отвечает громко: «Здесь».

О, этот Лермонтов опальный,
сын нашей собственной земли,
чьи строки, как удар кинжальный,
под сердце самое вошли!

Он, этот Лермонтов могучий,
сосредоточась, добр и зол,
как бы светящаяся туча
по небу русскому прошел.

СЕРДЦЕ БАЙРОНА

В Миссолунгской низине,
меж каменных плит,
сердце мертвое Байрона
ночью стучит.

Партизанами Греции
погребено,
от карательных залпов
проснулось оно.

Нету сердцу покоя
в могиле сырой
под балканской землей,
под британской пятой.

*

На московском бульваре,
глазаст, невысок,
у газетной витрины
стоит паренек.

Пулеметными трассами
освещена

на далеких Балканах
чужая страна.

Он не может
в ряды твоей армии стать,
по врагам твоей армии
очередь дать.

Не гранату свою
и не свой пулемет —
только сердце свое
он тебе отдает.

Под большие знамена
полка своего,
патриоты,
зачислите сердце его.

Пусть оно
на далеких балканских полях
бьется храбро и яростно
в ваших рядах.

*

Душной ночью
заморский строчит автомат,
наделяя Европу
валютой свинца,
но, его заглушая,
все громче стучат
сердце Байрона,
наши живые сердца.

ДВА ПЕВЦА

Были давно
два певца у нас:
голос свирели
и трубный глас.

Хитро зрачок
голубой блестит —
всех одурманит
и всех прельстит.

Громко открыт
беспощадный рот —
всех отвоюет
и все сметет.

Весело в зале
гудят слова.
Свесилась
бедная голова.

Легкий шажок
и широкий шаг.
И над обоими
красный флаг.

Над Ленинградом
метет метель.
В номере темном
молчит свирель.

В окнах московских
блестит апрель.
Пуля нагана
попала в цель.

Тускло и страшно
блестит глазет.
Кровью намокли
листы газет.

...Беленький томик
лениво взять —
между страниц
золотая прядь.

Между прелестных,
нежнейших строк
грустно лежит
голубой цветок.

Благоговея, открыть
тома —
между обложками
свет и тьма,

вихрь революции,
гул труда,
волны,
созвездия,
города.

...Все мы окончимся,
все уйдем
зимним
или весенним днем.

Но не хочу я
ни женских слез,
ни на виньетке
одних берез.

Бог моей жизни,
вручи мне медь,
дай мне веселие
прогреметь.

Дай мне отвагу,
трубу,
поход,
песней победной
наполни рот.

Посох пророческий
мне вручи,
слову и действию
научи.

МАЯКОВСКИЙ

Из поэтовой мастерской,
не теряясь в толпе московской,
шел по улице по Тверской
с толстой палкою Маяковский.

Говорлива и широка,
ровно плещет волна народа
за бортом его пиджака,
словно за бортом парохода.

Высока его высота,
глаз рассерженный смотрит косо,
и зажата в скульптуре рта
грубо смятая папироса.

Всей столице издалека
очень памятна эта лепка:
чисто выбритая щека,
всероссийская эта кепка.

Счастлив я, что его застал
и, стихи заучив до корки,
на его вечерах стоял,
шею вытянув, на галерке.

Площадь зимняя вся в огнях,
дверь подъезда берется с бою,
и милиция на конях
над покачивающейся толпою.

У меня ни копейки нет,
я забыл о монетном звоне,
но рублевый зажат билет —
все богатство мое — в ладони.

Счастлив я, что сквозь зимний дым
после вечера от Музея
в отдалении шел за ним,
не по-детски благоговея.

Как ты нужен стране сейчас,
клубу, площади и газетам,
революции трубный бас,
голос истинного поэта!

НАЗЫМ ХИКМЕТ В МОСКВЕ

Не год один,
а десять с лишним лет
хотел увидеть я тебя, Хикмет.

Твоею жизнью я в часы те жил,
когда стихи твои переводил.
В твои глаза заглядывал, Хикмет,
когда глядел на маленький портрет.

Да что там — я,
все люди мира — мы,
стихи твои и мужество любя,
сквозь стены дальней Бурсывской тюрьмы
глядели с восхищеньем на тебя.

И вот в Москве,
в гостинице «Москва»,
я слушаю спокойные слова;
передо мною — строен и плечист,—
из стен тюремных выйдя наконец,
стоит планеты нашей коммунист,
ее рабочий и ее певец.

Высокий лоб,
исполненный красы,
не русские, но русые усы.
В глазах его,
как в небе голубом,
сияет свет и затихает гром.

БОРИС КОРНИЛОВ

Из тьмы забвенья воскрешенный,
ты снова встретился со мной,
пудовой гирею крещенный,
ширококостый и хмельной.

Не изощренный томный барин —
деревни и заставы сын,
лицом и глазками татарин,
а по ухватке славянин.

Веселый друг и сильный малый,
а не жантильный вертопрах,
приземистый, коротконалый,
в каких-то шрамах и буграх.

То — буйный, то — смиренно-кроткий,
то — предающийся греху,
в расстегнутой косоворотке,
в боярской шубе на меху.

Ты чужд был залам и салонам,
так, как чужды наверняка
диванам мягкого вагона
кушак и шапка ямщика.

И песни были! что за песни!
ты их записывал пером,
вольготно сидя, как наездник,
а не как писарь за столом.

А вечером, простившись с музой,
шагал, куда печаль влекла,
и целый час трещали лузы
у биллиардного стола.

Случалось мне с тобою рядом
бродить до ранней синевы
вдоль по проспектам Ленинграда,
по переулочкам Москвы.

И я считал большою честью,
да и теперь считать готов,
что брат старшой со мною вместе
гулял до утренних гудков.

Все это внешние приметы,
быть может, резкие — прости.
Я б в душу самую поэта
хотел читателя ввести.

Но это вряд ли мне по силам,
да и нужды особой нет,
раз ты опять запел, Корнилов,
мой сотоварищ, наш поэт.

АЛЕКСЕЙ ФАТЬЯНОВ

Мне во что бы то ни стало
надо б встретиться с тобой,
русской песни запевала
и ее мастеровой.

С обоюдным постоянством
мы б послали с кондачка
все романсы-преферансы
для частушки и очка.

Володимирской породы
достославный образец,
добрый мóлодец народа,
госэстрады молодéц.

Ты никак не ради денег,
не затем, чтоб лишний грош,
по Москве, как коробейник,
песни сельские несешь.

Песня тянет и туманит,
потому что между строк
там и ленточка и пряник,
тут и глиняный свисток.

Песню петь-то надо с толком,
потому что между строк
и немецкие осколки,
и блиндажный огонек.

Там и выдумка и были,
жизнь как есть — ни дать, ни взять.
Песни те, что не купили,
будем даром раздавать.

Краснощекий, белолицый,
приходи ко мне домой,
шумный враг ночных милиций,
брат милиции дневной.

Приходи ко мне сегодня
чуть, с устаточку, хмелен:
посмеемся — я ж охотник,
и поплачем — ты ж силен.

Ну-ка вместе вспомним, братцы,
отрешась от важных дел,
как любил он похваляться,
как он каяться умел.

О тебе, о неушедшем,—
не смогу себе простить! —
я во времени прошедшем
вздумал вдруг заговорить.

Видно, черт меня попутал,
ввел в дурацкую игру.
Это вроде б не к добру-то,
впрочем, нынче все к добру.

Ты меня, дружок хороший,
за обмолвку извини.
И сегодня же, Алеша,
или завтра позвони...

КСЕНЯ НЕКРАСОВА

Что мне красавицы, ваши роскошные тряпки,
ваша изысканность, ваши духи и белье? —
Ксеня Некрасова в жалкой соломенной шляпке
в стихотворение медленно входит мое.

Как она бедно и как неискусно одета!
Пахнет от кройки подвалом или чердаком.
Вы не забыли стремление Ксенино это —
платье украсить матерчатым мятым цветком?

Жизнь ее в общем сложилась не очень удачно:
пренебреженье, насмешечки, даже хула.
Знаю я только, что где-то на станции дачной,
вечно без денег, она всухомятку жила.

На электричке в столицу она приезжала
с пачечкой новых, наивных до прелести строк.
Редко когда в озабоченных наших журналах
вдруг появлялся какой-нибудь Ксенин стишок.

Ставила буквы большие она неумело
на четвертушках бумаги, в блаженной тоске.
Так третьеклассница, между уроками, мелом
в детском наитии пишет на школьной доске.

Малой толпою, приличной по сути и с виду,
сопровождался по улицам зимним твой прах.
Не позабуду гражданскую ту панихиду,
что в крематории мы провели второпях.

И разошлись, поразъехались сразу, до срока,
кто — на собранье, кто — к детям,
кто — попросту пить,
лишь бы скорее избавиться нам от упрека,
лишь бы быстрее свою виноватость забыть.

* * *

Приезжают в столицу
смиренно и бойко
молодые Есенины
в красных ковбойках.

Поглядите,
оставив предвзятые толки,
как по-детски подрезаны
наглые челки.

Разверните,
хотя б просто так,
для порядка,
их измятые в дальней дороге
тетрадки.

Там
на фоне безвкусицы и дребедени
ослепляющий образ
блеснет на мгновенье.

Там
среди неумелой житейской мороки

вдруг возникнут
почти гениальные строки.

...Пусть придет к ним
потом, через годы, по праву
золотого Есенина
звонкая слава.

— Дай лишь бог,— говорю я,
идя стороною,—
чтобы им.
(извините меня за отсталость)
не такою она доставалась ценою,
не такою ценою она доставалась.

ПОЭТЫ

Я не о тех золотоглавых
певцах отеческой земли,
что пили всласть из чаши славы
и в антологии вошли.

И не о тех полузаметных
свидетелях прошедших лет,
что все же на листах газетных
оставили свой слабый след.

Хочу сказать, хотя бы сжато,
о тех, что, тщанью вопреки,
так и ушли, не напечатав
одной-единственной строки.

В поселках и на полустанках
они — средь шумной толчеи —
писали на служебных бланках
стихотворения свои.

Над ученической тетрадкой,
в желанье славы и добра,
вздыхая горестно и сладко,
они сидели до утра.

Неясных замыслов величье
их души собственные жгло,
но сквозь затор косноязычья
пробиться к людям не могло.

Поэмы, сложенные в спешке,
читали с пафосом они
под полускрытые усмешки
их сослуживцев и родни.

Ах, сколько их прошло по свету
от тех до нынешних времен,
таких неузнанных поэтов
и нерасслышанных имен!

Всех бедных братьев, что к потомкам
не проложили торный путь,
считаю долгом пусть негромко,
но благодарно помянуть.

Ведь музы Пушкина и Блока,
найдя подвал или чердак,
их посещали ненароком,
к ним забегали просто так.

Их лбов таинственно касались,
дарили две минуты им
и, улыбнувшись, возвращались
назад, к властителям своим.

МАЛЬЧИШКИ

О прошлом зная понаслышке,
с жестокой резвостью волчат
в спортивных курточках мальчишки
в аудиториях кричат.

Зияют в их стихотвореньях
с категоричной прямотой
непониманье и прозренье,
и правота и звук пустой.

Мне б отвернуться отчужденно,
но я нисколько не таюсь,
что с добротою раздраженной
сам к этим мальчикам тянусь.

Я сделал сам не так уж мало,
и мне, как дядьке иль отцу,
и ублажать их не пристало,
и унижать их не к лицу.

Мне непременно только надо —
точнее не могу сказать —
сквозь их смущенность и браваду
сердца и души увидать.

Ведь все двадцатое столетье —
весь ветер счастья и обид —
и нам и вам, отцам и детям,
по-равному принадлежит.

И мы, без ханжества и лести,
за все, чем дышим и живем,
не по-раздельному, а вместе
свою ответственность несем.

УЧЕНИК ДЖАМБУЛА

Среди писателей Москвы сутулых
сидел свободно, как в степи сидят,
сын Казахстана, ученик Джамбула,
плечистый, пламенный, широкоскулый,
коричневый от солнца азиат.

Глядеть нам на него — не наглядеться.
Так только может мужество на детство —
глаза в глаза — с надеждою глядеть.
А он смотрел с любовью, виновато —
так смотрит мальчик на старшо́го брата,
успевшего в разлуке поседеть.

Как не запеть?
И в маленькой гостиной,
среди цветов и мебели старинной,
запела тонким голоском струна.
И, вторя ей, звучит запев акына,
как строки думы, как напев былины,
как медленно шумящая волна.

И вдруг томленье переходит в бурю.
Певец сидит, косые очи щуря,

рукою темною по струнам бьет.
Что может быть на свете вдохновенней,
чем возрожденного народа гений
освобожденной музыки полет?

Струна замолкла, и строка уснула,
сидит устало ученик Джамбула,
свой инструмент к колену прислоня.
Лишь крупный рот от радости смеется,
лишь сердце переполненное бьется,
и лишь глаза исполнены огня.

АЛЕКСАНДРУ РЕШЕТОВУ

Тридцать лет тому назад
я узнал воочью
не дворцовый Петроград —
Ленинград рабочий.

И доныне помнить рад
с обожаньем редким
дымный зимний Ленинград
первой пятилетки.

Трубы города того —
каменные вышки,
воспевателей его
в худеньких пальтишках.

Мы ходили в дальний срок
по путям таковским,
ленинградский паренек
с пареньком московским.

Не на танцах и балах,
не в паркетном зале,
а в путиловских цехах
вместе выступали.

Жили мы с тобой тогда,
юные, худые,
как ударники труда,
люди заводские.

Так прими же в новый срок
мой привет отменный,
Сашка Решетов, дружок,
юбиляр почтенный.

РАЗГОВОР О ПОЭЗИИ

Ты мне сказал, небрежен и суров,
что у тебя — отрадное явленье! —
есть о любви четыреста стихов,
а у меня два-три стихотворенья.

Что свой талант (а у меня он был,
и, судя по рецензиям, не мелкий)
я чуть не весь, к несчастью, загубил
на разные гражданские поделки.

И выходило — мне резону нет
из этих обличений делать тайну, —
что ты — всепроникающий поэт,
а я — лишь так, ремесленник случайный.

Ну что ж, ты прав. В альбомах у девиц,
средь милой дребедени и мороки,
в сообществе интимнейших страниц
мои навряд ли попадутся строки.

И вряд ли что, открыв красиво рот,
когда замолкнут стопки и пластинки,
мой грубый стих томительно споет
плешивый гость притихшей вечеринке.

Помилуй бог! — я вовсе не горжусь,
а говорю не без душевной боли,
что, видимо, не очень-то гожусь
для этакой литературной роли.

Я не могу писать по пустякам,
как словно бы мальчишка желторотый,—
иная есть нелегкая работа,
иное назначение стихам.

Меня к себе единственно влекли —
я только к вам тянулся по наитью —
великие и малые событья
чужих земель и собственной земли.

Не так-то много написал я строк,
не все они удачны и заметны,
радиостудий рядовой пророк,
ремесленник журнальный и газетный.

Мне в общей жизни, вобщем, повезло,
я знал ее и крупно и подробно.
И рад тому, что это ремесло
созданию истории подобно.

ПИСЬМО К ДРУГУ-СТИХОТВОРЦУ

Михаилу Луконину

Меж неземной и средь житейской
толпы поэтов небольшой
мы — плебс. И вкус у нас плебейский,
а не какой-нибудь иной.

Но плебс совсем другого рода,
а не такого, не того,
что, тщась шагать в главе народа,
плетется сам в хвосте его.

Для песенок с пошибом старым
не брали мы со стороны
ни семиструнную гитару,
ни балалайку в три струны.

И в небольшом фабричном зале
средь чтения своих страниц
чечеткой, сдуру, не прельщали
ряды смеющихся девиц.

...Мы с теми даже вроде дружим,
но сами вовсе не из тех,

кому — до боли сердца — нужен
любой, но все-таки успех.

Мы не из тех, кто молодежи
строчит намеки да интим.
Мы сами это делать можем,
да не желаем. Не хотим.

Мы не хотим, чтоб нам вдогонку —
оценка та совсем не впрок:
«Ах, как он мил! Какой он тонкий!» —
звучал прелестный голосок.

Но это только отрицанье.
А вдруг достойные умы
нас спросят: «Ну а что вы сами?»
Действительно — что сами? Мы?

Вдыхая жадно воздух здешний,
с тобою вместе мы вдвоем
без фейерверка, непоспешно,
хоть время к вечеру, идем.

Мы отвергаем за работой —
не только я, не только ты —
красивости или красоты
для справедливой красоты.

Мы добываем, торжествуя
и глядя времени в лицо,
не «мо», не хохму продувную,
а просто красное словцо.

Да, то словцо и то словечко,
произнесенное в упор,
что как истопленная печка
или в зазубринах топор.

* * *

Мальчики, пришедшие в апреле
в шумный мир журналов и газет,
здорово мы все же постарели
за каких-то три десятка лет.

Где оно, прекрасное волненье,
острое, как потаенный нож,
в день, когда свое стихотворенье
ты теперь в редакцию несешь?

Ах, куда там! Мы ведь нынче сами,
важно въехав в загородный дом,
стали вроде бы учителями
и советы мальчикам даем.

От меня дорожкою зеленой,
источая ненависть и свет,
каждый день уходит вознесенный
или уничтоженный поэт.

Он ушел, а мне не стало лучше.
На столе — раскрытая тетрадь.
Кто придет и кто меня научит,
как мне жить и как стихи писать?

ДАЛЬНЯЯ ПОЕЗДКА



* * *

Я остался и нежным, и резким,
тем, каким меня знали всегда,
но вернулся из дальней поездки
не таким, как уехал туда.

В каждом чуть изменившемся жесте
я невольно ответно сберег
продолжение всех путешествий,
повороты и локти дорог.

Из дорожных моих впечатлений
ничего не пропало вдали,
и на лоб полуясные тени
для других незаметно легли.

Двери в собственный дом открывая,
надевая в передней пальто,
непривычно в себе ощущаю
путешествие дальнее то.

Москва

* * *

Вдоль дымных окраин
и сельских огней
я ехал по родине
несколько дней.

В три пальца железных
свистал паровоз
меж сосен недвижных
и чистых берез.

Неслись в темноте,
освещая столбы,
созвездия искр
из летящей трубы.

Из осени — в зиму,
по наледи — в лед.
В сибирские шири
с уральских высот.

И вот, наконец,
на пути моем встал
из серого камня
вечерний вокзал.

Здесь небо светлее,
морозней зима.
Завалены снегом
большие дома.

Но те же законы
в далеких краях
и те же знамена
на этих домах.

Вот так бы мне мчаться,
в свеченье и мгле,
по белому свету,
по всей бы земле.

Сходить с поездов,
с пароходов слезать
и всюду тебя, коммунизм,
узнавать.

Новосибирск

КОМСОМОЛЬСКИЙ ВАГОН

Пробив привокзальную давку,
прощальным огнем озарен,
уже перед самой отправкой
я сел в комсомольский вагон.

И сразу же, в эту же пору,
качнувшись и дернув сперва,
в зеленых кружках семафоров
пошла отдаляться Москва.

Шел поезд надежно и споро,
его от знакомой земли
в иные края и просторы
далекие рельсы вели.

Туда уходила дорога,
где вечно — с утра до утра —
в районе большого порога
сурово шумит Ангара.

И где на брегах диковатых,
на склонах нетронутых гор

вас всех ожидают, ребята,
взрывчатка, кайло и лопата,
бульдозер, пила и топор.

Там всё вы построите сами,
возьмете весь край в оборот...
Прощаясь с родными местами,
притих комсомольский народ.

Тот самый народ современный,
что вовсе недавно из школ,
как это ведется, на смену
отцам или братьям пришел.

И я, начиная дорогу,
забыв о заботах иных,
пытливо, внимательно, строго,
с надеждой и скрытой тревогой
гляжу на людей молодых.

Как будто в большую разведку,
в мерцанье грядущего дня
к ребятам шестой пятилетки
ячейка послала меня;

как будто отважным народом,
что трудно и весело жил,
из песен тридцатого года
я к ним делегирован был.

Мне с ними привольно и просто,
мне радостно — что тут скрывать! —
в теперешних этих подростках
тогдашних друзей узнавать.

Не хуже они и не краше,
такие же,— вот они, тут! —
и песни любимые наши
с таким же азартом поют.

Не то что различия нету,—
оно не решает как раз,—
ну разве почище одеты
да разве ученее нас.

Не то чтобы разницы нету,
но в самом большом мы сродни,
и главные наши приметы
у двух поколений одни.

Ну нет, мы не просто знакомы,
я вашим товарищем стал,
посланцы того же райкома,
который меня принимал.

Поезд «Москва — Лена»

ДАЕШЬ!

Купив на попутном вокзале
все краски, что были, подряд,
два друга всю ночь рисовали,
пристроясь на полке, плакат.

И сами потом восхищенно,
как знамя пути своего,
снаружи на стенке вагона
приладили молча его.

Плакат удался в самом деле,
мне были как раз по нутру
на фоне тайги и метели
два слова: «Даешь Ангару!»

Пускай, у вагона помешкав,
всего не умея постичь,
зеваки глазеют с усмешкой
на этот пронзительный клич.

Ведь это ж не им на потеху
по дальним дорогам страны
сюда докатилось, как эхо,
словечко гражданской войны.

Мне смысл его дорог ядреный,
желанна его красота.
От этого слова бароны
бежали, как черт от креста.

Ты сильно его понимала,
тридцатых годов молодежь,
когда беззаветно орала
на митингах наших: «Даешь!»

Винтовка, кумач и лопата
живут в этом слове большом.
Ну что ж, что оно грубовато,—
мы в грубое время живем.

Я против словечек соленых,
но рад побрататься с таким:
ведь мы-то совсем не в салонах
историю нашу творим.

Ведь мы и доныне, однако,
живем, ни черта не боясь.
Под тем восклицательным знаком
Советская власть родилась!

Наш поезд все катит и катит,
с дороги его не свернешь,
и ночью горит на плакате
воскресшее слово — «Даешь!»

Поезд «Москва — Лена»

В ДОРОГЕ

Шел поезд чуть ли не неделю.
За этот долгий срок к нему
привыкнуть все уже успели,
как к общежитью своему.

Уже опрятные хозяйки,
освоясь с поездом сполна,
стирали в раковинах майки
и вышивали у окна.

Уже, как важная примета
организации своей,
была прибита стенгазета
в простенке около дверей.

Своя мораль, свои словечки,
свой немудреный обиход.
И, словно где-то на крылечке,
толпился в тамбуре народ.

Сюда ребята выходили
вести солидный разговор
о том, что видели, как жили,
да жечь нещадно «Беломор».

Здесь пели плотные подружки,
держась за поручни с бочков,
самозабвенные частушки
под дробь высоких каблучков.

Конечно, это вам не в зале,
где трубы медные ревут:
они не очень-то плясали,
а лишь приплясывали тут.

Видать, еще не раз с тоскою
парнишкам в праздничные дни
в фабричном клубе под Москвою
со вздохом вспомнятся они.

...Как раз вот тут-то между нами,
весь в угле с головы до ног,
блестя огромными белками,
возник внезапно паренек.

Словечко вставлено не зря же —
я к оговоркам не привык,—
он не вошел, не влез и даже
не появился, а возник.

И потеснился робко в угол.
Как надо думать, оттого,
что в толчее мельчайший уголь
с одежки сыпался его.

Через минуту, к общей чести,
все угадали без труда:
он тоже ехал с нами вместе
на Ангару, в Сибирь, туда.

Но только в виде подготовки
бесед отнюдь не посещал
и никакой такой путевки
ни от кого не получал.

И на разубранном вокзале,
сквозь полусвет и полутьму,
его друзья не целовали
и туша не было ему.

Какой уж разговор об этом!
Зачем лукавить и ханжить?
Он даже дальнего билета
не мог по бедности купить.

И просто ехал верным курсом
на крыше, в угольной пыли,
то ль из орловской, то ль из курской,
мне не запомнилось, земли.

В таком пути трудов немало.
Не раз на станции большой
его милиция снимала
и отпускала: бог с тобой!

И он, чужих чураясь взглядов,
сторонкой обходя вокзал,
как будто это так и надо,
опять на крышу залезал.

И снова на железной койке
дышал осадками тепла.
Его на север жажда стройки,
как одержимого, влекла.

Одним желанием объятый,
одним движением томим...
Так снилась в юности когда-то
Магнитка сверстникам моим.

В его глазах, таких открытых,
как утром летнее окно,
ни зависти и ни обиды,
а дружелюбие одно.

И — никакого беспокойства,
и от расчета — ничего.
Лишь ожидание геройства
и обещание его.

Поезд «Москва — Лена»

ПОЭТЕССА

Такого места просто нету
в краю метельных русских зим,
где б не висела стенгазета
с названьем собственным своим.

Ее найдешь на месте видном,
слегка поблекшую уже,
в любой артели инвалидной,
в любом заштатном гараже.

И даже там, где скуповато
общественная жизнь идет,
она выходит все же к датам
хотя б четыре раза в год.

...Уже у нас в пути помалу
сложилось общее житье,
но все чего-то не хватало,
пока не поняли: ее.

Чтоб стенгазеты молодежной
наполнить и украсить лист,
нашлись политик, и художник,
и развеселый юморист.

И недреманное то око,
что через местную печать
готово, к сроку и без срока,
разоблачать и обличать.

Все сочинять взялись проворно,
всех обуяла жажда дел.
Вот только словом стихотворным
никто, к несчастью, не владел.

А ведь тревожное кипенье
народа юного того
так и рвалось в стихотворенье,
певца просило своего.

Вот тут-то кстати и случилось,
что, некрасива и бледна,
полустесняясь, объявилась
негромко девушка одна.

На эту нашу поэтессу,
забыв на время юмор свой,
мы все глядели с интересом
благожелательной толпой.

Живя вагонною семьею,
кормясь из общего котла,
мы знали только, что швеею
она на фабрике была.

И что почти весь век короткий
там, на окраине Москвы,
жила по-скромному у тетки,
пенсионерки и вдовы.

Одни и те же юбки шила,
ходила в клуб потанцевать
и вдруг отчаянно решила
иглу на стройку променять.

Все это нас не умиляло:
ведь все такими были тут
и все, раздумывая мало,
сибирский выбрали маршрут.

Но вот, тетрадь в обложке белой
расположив перед собой,
она, уже волнуясь, села
за шаткий столик боковой.

И все мы по своей охоте
так незаметно, как смогли,
чтоб не мешать ее работе,
посторонились, отошли.

Совсем притихло общежитье,
погас курильщиков огонь,
лишь еле слышно — по наитью —
вела мелодию гармонь.

Старательно, как на уроке,
сидела девушка вдали.
Но вот уже явились строки,
заторопились и пошли.

Встречая радостно и смело
слова, идущие чредой,
она заметно хорошела
над каждой найденной строкой.

Она писала жарко, с ходу,
не исправляя ничего,
пускай не для всего народа,
а для вагона одного.

И весь вагон, как по заданью,
утихомирившись пока,
с нелицемерным ожиданьем
следил за ней издалека...

Поезд «Москва — Лена»

ЗЕМЛЯНИКА

Средь слабых луж и предвечерних бликов,
на станции, запомнившейся мне,
две девочки с лукошком земляники
застенчиво стояли в стороне.

В своих платьишках, стираных и старых,
они не зазывали никого,
два маленькие ангела базара,
не тронутые лапами его.

Они об этом думали едва ли,
хозяечки светающих полян,
когда с недетским тщаньем продавали
ту ягоду по два рубля стакан.

Земли зеленой тоненькие дочки,
сестренки перелесков и криниц,
и эти их некрепкие кулечки
из свернутых тетрадочных страниц,

где тихая работа семилетки,
свидетельства побед и неудач
и педагога красные отметки
под кляксами диктантов и задач...

Проехав чуть не половину мира,
держа рублевки смятые в руках,
шли прямо к их лукошку пассажиры
в своих пижамах, майках, пиджаках.

Не побывав на маленьком вокзале,
к себе кулечки бережно прижав,
они, заметно подобрев, влезали
в уже готовый тронуться состав.

На этот раз, не поддаваясь качке,
на полку забираться я не стал —
ел ягоды. И хитрые задачки
по многу раз пристрастно проверял.

Иркутск

ПЕРЕКРЫТЬЕ

(Из очерка)

1

Свидетель большого событья,
течению дней вопреки,
запомнил я день перекрытья
недальней сибирской реки.

Нет, это совсем не описка,
не ради бахвальства строка:
мне стала действительно близкой
нелегкая эта река.

Признаюсь, что в школьные годы,
таская учебники в класс,
я знал только так, мимоходом,
что есть и такая у нас.

Мне также случалось позднее,
не путаясь даже почти,
на карте, вблизи Енисея,
ее равнодушно найти.

Но вот я увидел воочью
живую ее красоту,
когда у прожектора ночью
стоял на плавучем мосту.

Валили, теснясь, самосвалы
бетонные глыбы туда,
где трудно уже клокотала
и прядала набок вода.

Захваченный общим движеньем,
я молча смотрел, как велось
гражданское то наступленье
плакатов, кабин и колес.

2

Рожденный в далекие годы
под смутною сельской звездой,
я русскую нашу природу
не хуже люблю, чем другой.

Крестьянскому внуку и сыну
нельзя позабыть погодя
скопленья берез и осинок
сквозь мелкую сетку дождя.

Нельзя даже в шутку отречься,
нельзя отказаться от них —
от малых родительских речек,
от милых цветов полевых.

Но, видно, уж так воспитала
меня городская среда,

что ближе мне воздух металла
и гул коллективный труда.

И я, в настроенье рабочем
входя в наступательный раж,
люблю, когда он разворочен,
тот самый прелестный пейзаж.

Рабочие смены и сутки,
земли темно-серой валы,
дощатые — наскоро! — будки
и сбитые с ходу столы.

Колес и взрывчатки усилья,
рабочая хватка и стать!
Не то чтобы дымом и пылью
мне нравилось больше дышать,

но я полюбил без оглядки
всей сущностью самой своей
строительный воздух площадки —
предтечи больших площадей.

3

На полке вагонной качаясь,
покинув уют и семью,
я ехал в Сибирь, возвращаясь,
как думалось, в юность свою.

Не зря же строительный опыт
достался мне с тех еще пор,
когда я ходил в землекопах,
месил известковый раствор.

Когда я весь день без обмана,
сумев эту хитрость постичь,
на той на козе деревянной
таскал краснотелый кирпич.

С работою прежней знакомый,
я верил умом и душой,
что буду почти что как дома
на нынешней стройке большой.

Но, эти портальные вышки
едва увидав наяву,
я обмер, как сельский мальчишка,
впервые попавший в Москву.

Я снизу смотрел и несмело
из юности бедной своей
на эти подъемные стрелы,
на дело крюков и ковшей.

Как будто, стеснительность пряча,
один, совершенно один,
стою я с лопатой и тачкой
средь этих железных махин.

Я в этом бы стиле и вкусе
и дальше раздумывать стал,
но тут самосвал Беларуси
под ковш экскаватора встал.

В семье тепловозов и кранов,
среди рычагов и колес
таким же он был великаном,
нагрузку такую же нес.

Растерянность кончилась сразу,
механику по́няв чудес,
я быстро по лесенке МАЗа
в кабину огромную влез...

Иркутск

ЛАНДЫШИ

Устав от тряски перепутий,
совсем недавно, в сентябре,
я ехал в малецькой каюте
из Братска вверх по Ангаре.

И полагал вполне разумно,
что мне удастся здесь поспать,
и отдохнуть от стройки шумной,
и хоть немного пописать.

Ведь помогают размышленью
и сочинению стихов
реки согласное теченье
и очертанья берегов.

А получилось так на деле,
что целый день, уже с утра,
на пароходике гремели
динамики и рупора.

Достав столичную новинку,
с усердьем честного глупца
крутил радист одну пластинку,
одну и ту же без конца.

Она звучала в час рассвета,
когда все смутно и темно
и у дежурного буфета
закрыто ставнею окно.

Она не умолкала поздно
в тот срок, когда, сбавляя ход,
под небом осени беззвездным
шел осторожно пароход.

Она кружилась постоянно
и отравляла мне житье,
но пассажиры, как ни странно,
охотно слушали ее.

В полупустом читальном зале,
где был всегда неверный свет,
ее парнишки напевали
над пачкой выцветших газет.

И в грубых ватниках девчонки
в своей наивной простоте,
поправив шпильки и гребенки,
слова записывали те:

«Ты сегодня мне принес
Не букет из пышных роз,
Не фиалки и не лилии,—
Протянул мне робко ты
Очень скромные цветы,
Но они такие милые...
Ландыши, ландыши...»

Нет, не цветы меня озлили
и не цветы мешали жить.

Не против ландышей и лилий
решил я нынче говорить.

Я жил не только для бумаги,
не только книжицы листал,
я по утрам в лесном овраге
сам эти ландыши искал.

И у меня — от сонма белых
цветков, раскрывшихся едва,—
стучало сердце и пьянела —
в листве и хвое — голова.

Я сам еще в недавнем прошлом
дарил созвездия цветов,
но без таких, как эти, пошлых,
без патефонных этих слов.

Поэзия! Моя отрада!
Та, что всего меня взяла
и что дешевою эстрадой
ни разу в жизни не была;

та, что, порвав на лире струны,
чтоб не томить и не бренчать,
хотела только быть трибуной
и успевала ею стать;

та, что жила едва не с детства,
с тех пор, как мир ее узнал,
без непотребного кокетства
и потребительских похвал,—

воюй открыто, без сурдинки,
гражданским воздухом дыши,
и эти жалкие пластинки
победным басом заглуши!

Пароход на Ангаре

ПРИЗЫВНИК

Под пристани гомон прощальный
в селе, где обрыв да песок,
на наш пароходик недальний
с вещичками сел паренек.

Он весел, видать, и обижен,
доволен и вроде как нет,—
уже под машинку острижен,
еще по-граждански одет.

По этой-то воинской стрижке,
по блеску сердитому глаз
мы в крепком сибирском парнишке
солдата признали сейчас.

Стоял он на палубе сиро
и думал, как видно, что он
от прочих речных пассажиров
незримо уже отделен.

Он был одинок и печален
среди интересов чужих:
от жизни привычной отчалил,
а новой еще не достиг.

Не знал он, когда между нами
стоял с узелочком своим,
что армии красное знамя
уже распростерлось над ним.

Себя отделив и принизив,
не знал он, однако, того,
что слава сибирских дивизий
уже осенила его.

Он вовсе не думал, парнишка,
что в штатской одежке у нас
военные красные книжки
тихонько лежат про запас.

Еще понимать ему рано,
что связаны службой одной
великой войны ветераны
и он, призывник молодой.

Поэтому, хоть небогато —
нам не с чего тут пировать,—
мы, словно бы младшего брата,
решили его провожать.

Решили хоть чуть, да отметить,
хоть что, но поставить ему.
А что мы там пили в буфете,
сейчас вспоминать ни к чему.

Но можно ли, коль без притворства,
а как это есть говорить,
каким-нибудь клюквенным морсом
солдатскую дружбу скрепить?

Пароход на Ангаре

СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК

По старинной привычке,
безобидной притом,
обязательно спички
есть в кармане моем.

Заявленье такое
не в урок, не в упрек,
но всегда под рукою —
вот он тут — коробок.

И могу я при этом,
как положено быть,
закурить сигарету
иль кому посветить.

Тут читателю впору —
я на это не зол —
усмехнуться с укором:
«Тоже тему нашел».

Ни к чему увереньья:
лучше вместе, вдвоем
мы по стихотворенью
осторожно пойдем.

То быстрее, то тише
подвигаясь вперед,
прямо к фабрике спичек
нас оно приведет.

Солнце греет несильно
по утрам в октябре.
Острый привкус осины
на фабричном дворе.

Вся из дерева тоже,
из сосны привозной,
эта фабрика схожа
со шкатулкой резной.

И похоже, что кто-то,
теша сердце свое,
чистотой и работой
всю наполнил ее.

Тут все собрано, сжато,
все стоит в двух шагах,
мелкий стук автоматов
в невысоких цехах.

Шебаршит деловито
в коробках мелкота —
словно шла через сито
вся продукция та.

Озираясь привычно,
я стою в стороне.
Этот климат фабричный
дорог издавна мне.

Тот же воздух полезный,
тот же пристальный труд,
только вместо железа
режут дерево тут.

И большими руками
всю работу ведет
у котлов, за станками
тот же самый народ.

Не поденная масса,
не отходник, не гость —
цех рабочего класса,
пролетарская кость.

Непоспешным движеньем
где-нибудь на ветру
я с двойным уваженьем
в пальцы спичку беру.

Повернувшись спиною,
огонек, как могу,
прикрываю рукою
и второй — берегу,

ощущая потребность,
чтобы он на дворе
догорал, не колеблясь,
как в живом фонаре.

Барнаул

МАШИНИСТЫ

В этой чистенькой чайной,
где плафоны зажглись,
за столом не случайно
машинисты сошлись.

Занялись разговором,
отойдя от работ,
пред отправкою скорой
в Узловую на слет.

Веселы и плечисты,
хороши на лицо,
говорят машинисты,
попивая пивцо.

Рук неспешных движенье
в подтверждение слов —
словно бы продолженье
тех стальных рычагов;

словно бы отраженье
за столом небольшим
своего уваженья
к содеповцам своим.

Кружки пенятся пеной,
а они за столом
продолжают степенно
разговор вчетвером.

Первый — храбрым фальцетом,
добрым басом — другой:
не о том да об этом —
о работе самой.

И, понятно, мы сами
возле кружек своих
за другими столами
молча слушаем их.

И вздыхаем согласно
там, где надо как раз,
будто тоже причастны
к их работе сейчас.

За столами другими
наблюдаем сполна,
как сидит вместе с ними
молодая жена.

Скрыла плечи и шею
под пуховым платком,
и гордясь и робея
в окруженье таком.

Раскраснелась не слишком.
Рот задумчиво сжат.
И нетронуто «мишки»
на тарелке лежат.

С удивлением чистым
каждый слушать готов
четырех машинистов,
четырех мастеров.

Громыхают составы
не недальних путях...
Машинисты державы
говорят о делах.

Павлодар

* * *

По траве той непомерной дали,
по цветам казахской стороны
вы свое навеки отгуляли,
конские степные табуны.

Там, где ваша вольница кружила,
ныне средь распаханных широт
чуть ли не последняя кобыла
воду для механиков везет.

А вблизи, безмолвно и послушно,
в блеске механических зарниц,
вылетают из стальной конюшни
двадцать миллионов кобылиц.

Все они похожи и красивы,
лошади земли и высоты,
красные отсвечивают гривы,
белые раскинуты хвосты.

Конница теперешнего века,
вытоптав полынную печаль,
русского уносит человека
в черную космическую даль.

Павлодар

В АЛМА-АТИНСКОМ САДУ

Вот в этот сад зеленовязый,
что мягким солнцем освещен,
когда-то, верится не сразу,
был вход казахам воспрещен.

Я с тихой болью представляю,
как вдоль ограды городской
они, свои глаза сужая,
шли молчаливо стороной.

На черной жести объявленье
торчало возле входа в сад.
Но в этом давнем униженье
я и чуть-чуть не виноват...

Сквозь золотящуюся дымку,
как братья — равные во всем, —
с казахским юношей в обнимку
по саду этому идем.

Мы дружим вовсе не для виду,
взаимной нежности полны;
нет у него ко мне обиды,
а у меня пред ним — вины.

Без лести и без снисхожденья —
они претят душе моей —
мы с ним друзья по уваженью,
по убежденности своей.

И это ведь не так-то мало.
Недаром, не жалея сил,
нас власть Советская сбратала,
Ильич навеки подружил.

Казахстан

ПЕРВЫЕ ДНИ

Мне с неподдельным увлеченьем
пришлось недавно наблюдать,
как город малого значенья
спешит столицей края стать.

Его заботит и тревожит,
что он, желая новым быть,
пока еще никак не может
все это новое вместить.

Ведь государственная милость
по воле съезда самого
совсем негаданно свалилась
на жизнь заштатную его.

Он знает сам, что нуждам края
теперь, в иные времена,
его медлительность былая
неподходяща и смешна.

Ему б, конечно, полагалось,
дать время прошлое забыть,
одуматься хотя бы малость,
хотя б фасады подновить.

Но жизнь зовет неумолимо,
предначертание не ждет.
Сюда уже по-русски хлынул,
как в песнях, всяческий народ.

От телеграфа до крайкома,
на смех и шутки не скупа,
держась привычно, словно дома,
весь день курсирует толпа.

Она, на улицы июля
наружу вынеся свой быт,
как будто борщ в большой кастрюле,
безостановочно кипит.

Держа в руках буханки хлеба,
она в положенный ей час
ест на ходу под пыльным небом
и жадно пьет из кружек квас.

А ночью, постелившись жестко,
спит неспокойно, второпях
в Дворце культуры на подмостках
и в техникумах на столах.

Наполненные силой вѐщей
вверху и сбоку, там и тут
над нею лозунги трепещут,
цитаты к подвигам зовут.

И ветер первых пятилеток,
полузабытый ветер тот,
всю ночь качая тени веток,
по длинным улицам метет.

Казахстан

ЯГНЕНОК

От пастбищ, высушенных жаром,
в отроги, к влаге и траве,
теснясь нестройно, шла отара
с козлом библейским во главе.

В пыли дорожной, бел и тонок,
до умиленья мил и мал,
хромой старательный ягненок
едва за нею поспевал.

Нетрудно было догадаться:
боялся он сильней всего
здесь, на обочине, остаться
без окруженья своего.

Он вовсе не был одиночкой,
а представлял в своем лице
как бы поставленную точку
у пыльной повести в конце.

Казахстан

КЕТМЕНЬ

Я отрицать того не стану,
что у калитки глупо стал,
когда сады Узбекистана
впервые в жизни увидал.

Глядел я с детским изумленьем,
не находя сначала слов,
на то роскошное скопленье
растений, ягод и плодов.

А вы, прекрасные базары,
где под людской нестройный гуд
со всех сторон почти задаром
урюк и дыни продают!

Толкался я в торговой давке,
шалел от красок золотых
вблизи киосков и прилавков
и ос над сладостями их.

Но под конец — хочу признаться,
к чему таиться и скрывать? —
устал я шумно восхищаться
и потихоньку стал вздыхать.

Моя душа не утихала,
я и грустил и ликовал,
как Золушка, что вдруг попала
из бедной кухоньки на бал.

Мне было больно и обидно
средь изобилия всего
за свой район, такой невидный,
и земли скудные его.

За тот подзол и супесчаник,
за край подлесков и болот,
что у своих отцов и нянек
так много сил себе берет.

И где не только в день вчерашний,
а и сейчас, чтоб лучше жить,
за каждым садиком и пашней
немало надо походить.

Я думал, губы сжав с усильем,
от мест родительских вдали,
что здесь-то лезет изобилье
само собою из земли.

Сияло солнце величаво,
насытив светом новый день,
когда у начатой канавы
я натолкнулся на кетмень.

Железом сточенным сияя,
он тут валялся в стороне,
как землекоп, что, отдыхая,
лежит устало на спине.

Я взял кетмень почтенный в руки
и кверху поднял для того,
чтоб ради собственной науки
в труде испробовать его.

Случалось ведь и мне когда-то
держать в руках — была пора —
и черенок большой лопаты,
и топорище топора.

Но этот — я не пожалею
сознаться в том, товарищ мой, —
не легче был, а тяжелее,
сноровки требовал иной.

Я сделал несколько движений,
вложивши в них немало сил,
и, как работник, с уваженьем
его обратно положил.

Так я узнал через усталость,
кромсая глину и пыля,
что здешним людям доставалась
не даром все-таки земля.

Она взяла немало силы,
немало заняла труда.
И это сразу усмирило
мои сомненья навсегда.

Покинув вскоре край богатый,
я вспоминаю всякий день
тебя, железный брат лопаты,
тебя, трудящийся кетмень!

Ташкент

ВЕТКА ХЛОПКА

Скажу открыто, а не в скобках,
что я от солнца на мороз
не что-нибудь, а ветку хлопка
из путешествия привез.

Она пришлась мне очень кстати,
я в самом деле счастлив был,
когда узбекский председатель
ее мне в поле подарил.

Все по-иному осветилось,
стал как-то праздничнее дом
лишь оттого, что поместилась
та ветка солнца над столом.

Не из кокетства, не из позы
я заявляю, не тая:
она мне лучше влажной розы,
нужнее пенья соловья.

Не то чтоб в этот век железный,
топча прелестные цветы,
не принимал я бесполезной,
щемящей душу красоты.

Но мне дороже ветка хлопка
не только пользою простой,
а и своею неторопкой,
своей рабочей красотой.

Пускай она зимой и летом,
попав из Азии сюда,
все наполняет мягким светом,
дыханьем мира и труда.

Ташкент

СОБАКА

Объезжая восточный край —
и высоты его, и дали,—
сквозь жару и пылищу — в рай
неожиданно мы попали.

Здесь, храня красоту свою
за надежной стеной дувала,
все цвело, как цветет в раю,
все по-райски благоухало.

Тут владычили тишь да ясь,
шевелились цветы и листья.
И висели кругом, светясь,
винограда большие кисти.

Шелковица. Айва. Платан.
И на фоне листвы и глины
синеокий скакал джейран,
распускали хвосты павлины.

Мы, попав в этот малый рай
на разбитом автомобиле,
ели дыни и пили чай
и джейрана из рук кормили.

Он, умея просить без слов,
ноги мило сгибал в коленках.
Гладил спину его Светлов,
и снимался с ним Евтушенко.

С ними будучи наравне,
я успел увидать, однако,
что от пиршества в стороне
одиноко лежит собака.

К нам не ластится, не визжит,
плотью, видимо, понимая,
что ее шелудивый вид
оскорбляет красоты рая.

Хватит жаться тебе к стене,
потянись широко и гордо,
подойди, не боясь, ко мне,
положи на колено морду.

Ты мне дорог почти до слез,
я таких, как ты, обожаю,
верный, храбрый дворовый пес,
ты, собака сторожевая.

Ташкент

ХАМЗА

Однажды ночью поздним летом
вдоль мест, истаявших вдали,
нас, делегацию поэтов,
в колхоз узбекский привезли.

Из недалекого оврага,
где возникал ночной туман,
тянуло свежестью и влагой
твоей земли, Шахимардан.

Под неподвижною чинарой,
видавшей битвы и пиры,
своей медлительностью старой
манили к отдыху ковры.

В дощатом близком помещенье,
пока мы маялись без дел,
в окошке сталкивались тени,
огонь томился и блестел.

Там для беседы нашей братской,
еще реальностью не став,
варился ужин азиатский
из мяса, риса и приправ.

Интеллигенции столичной
в помятых пыльных пиджаках
здесь все казалось непривычным,
как православному аллах.

Но вот уже само собою,
легко украшенный вином,
стол установлен под листвою
и скатерть белая на нем.

Хоть сам колхозный председатель
учтиво потчует гостей,
мы понимаем, что некстати
явились с лирикой своей.

Ведь на кустах вдоль каждой тропки,
на проводах над головой
висят повсюду прядки хлопка,
как пряжа осени самой.

То нарастая, то слабея,
итожа весь рабочий год,
идет уборка — только ею
сейчас республика живет.

Нам всем по опыту знакомо,
зачем, молчащий и прямой,
сюда работнику обкома
привозит сводки верховой.

И очень скоро делегаты,
чтоб им обузою не стать,
как сговорившись, деликатно
из-за стола уходят спать.

Солидным постлано в постройке,
снаружи — шумным и худым.
Мне хорошо на узкой койке
под небом темным и большим.

Молчат окрестности и дали.
Умолкло время в тишине.
Лишь дуновение печали
идет откуда-то ко мне.

Оно сквозит стезею длинной
в неслышном шорохе ветвей
с той голой каменной вершины,
где установлен мавзолей.

Из той обители высокой,
где спит едва не сорок лет
глашатай Красного Востока,
Советской Азии поэт.

Он воплощал начало эры,
ее энергию и суть.
Его убили изуверы,
пытаясь время повернуть.

Решившись — ночью — на расплату,
они к нему наперебой
спешили, путаясь в халатах,
визжащей маленькой толпой.

И от поруганного тела,
бесповоротно, не спеша,
к знаменам красным отлетела
его поэзии душа.

...А утром издали светлеют
уступы снежные вершин.
Невдалеке от мавзолея
мы вылезаем из машин.

Там нет ни облачка, ни тени,
ни украшений — ничего.
Лишь двести с чем-нибудь ступеней
к гробнице замкнутой его.

И мы туда, спеша помалу,
как будто заняты трудом,
венок, уже слегка увялый,
сменяясь, по двое несем.

На этой нашей поздней встрече
под общим солнцем всей страны
не к месту суетные речи
и слезы тоже не нужны.

Мы, перемолвившись невнятно,
тут, у бессмертья на краю,
опять спускаемся обратно
на землю грешную свою.

На те долготы и широты,
где нас еще покамест ждут
свои печали и заботы
и свой незавершенный труд.

Ташкент

ОДА РУССКОМУ ЧЕЛОВЕКУ

О, этот русский непрестанный,
приехавший издалека,
среди чинар Таджикистана,
в погранохране и в Цека.

В прорабской временной конторке,
где самый воздух раскален,
он за дощатой переборкой
орет азартно в телефон.

В коммунистической артели,
где Вахш клубится и ревет,
он из отводного тоннеля
наружу камень выдает.

Участник жизни непременный,
освоив с ходу местный быт,
за шатким столиком пельменной
с друзьями вместе он сидит.

Совсем не ради маскировки,
а после истинных работ
в своей замасленной спецовке
он ест шурпу и пиво пьет.

Высокомерия и лести
и даже признаков того
ни в интонации, ни в жесте
вы не найдете у него.

Не как слуга, не как владыка —
хоть и подтянут, но открыт —
по-равноправному с таджиком
товарищ русский говорит.

Еще тогда, в году двадцатом,
полузабывшемся вдали,
его винтовка и лопата
тебе, дехканин, помогли.

Потом не раз из дальней дали
на помощь родине твоей
Москва и Волга посылали
своих отцов и сыновей.

Их много, чистых и нечистых,
трудилось тут без лишних слов:
организаторов, чекистов,
учителей и кулаков.

Мы позабыть никак не в силах —
ни старший брат, ни младший брат —
о том, что здесь, в больших могилах,
на склонах гор, чужих и милых,
сыны российские лежат.

Апрельским утром неизменно
к ним долетает на откос
щемящий душу запах сена
сквозь красный свет таджикских роз.

Душанбе

СТАРИКИ

В мирном краю таджиков
стройные, как штыки,
вечером вдоль арыков
движутся старики.

Буднично величавым
бывшим бойцам страны
тросточки не по нраву,
посохи не нужны.

Верным ее солдатам,
выросшим на плацу,
не по душе халаты,
галстуки не к лицу.

Роскоши да истомы
истинные враги
носят по-строевому
китель и сапоги.

Дома же непременно,
правнуков веселя,
точно висят на стенах
длинные шинеля.

Снайперы и рубаки,
честно вошли они,
словно бы из атаки,
в мирные эти дни.

Это от вашей хватки,
от удалых мечей
драпала в беспорядке
конница басмачей.

В долгом кровавом споре
вышибли вы ее
из голубых предгорий
прямо в небытие.

Движась дорогой длинной
вдаль от своей земли,
вы до твердынь Берлина
все-таки дотекли.

И сотрясли сторицей
в ярости боевой
вражескую столицу
собственною рукой.

В ножны ушли достойно
памятные клинки.
Кончились ваши войны,
гордые старики.

...Ходите вы меж нами,
слава и честь страны,
уличными огнями
смутно освещены.

В позднее это время
вдоль по дороге всей
ветер качает тени
листьев и фонарей.

Душанбе

ПЛАТОК

Приехавшему на Восток
простому гостю Душанбе
пришелся по сердцу платок,
что служит поясом тебе.

Его на талии прямой
таджик привычно завязал.
Он украшает облик твой,
но украшением не стал.

Он для кутящего — карман,
а для скупого — кошелек,
и как лукошко для семян
у горных жителей платок.

Какой бы смысл еще найти,
о чем еще не позабыть?
Он малой скатеркой в пути
и полотенцем может быть.

А тот, кто в городе живет
и ходит завтракать к столу,
пускай меня не упрекнет
за эту скромную хвалу.

Душанбе

НЕПРОШЕНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Едущие в машинах,
нехотя, свысока,
сквозь боковые стекла
смотрят на ишака.

Радио и газеты,
с хитростью и умом,
словно бы сговорившись,
не говорят о нем.

В планах районов сельских
близких и дальних лет
нет его в главном тексте
и в примечаньях нет.

В общем-то, несомненно,
что справедливо он
вытеснен на проселки,
в сущности, обречен.

Но, несмотря на это,
логике вопреки,
очень мне симпатичны
бедные ишаки.

Даже не представляя,
что его дальше ждет,
ослик четвероногий
ношу свою несет.

Это на нем спокойно —
спешка им не с руки —
едут в районный город
важные старики.

Это на нем пока что
юноша и вдова
возят тутовник горный,
коконы и дрова.

Это его копыта
летом и в снегопад
быстро и деловито
вдоль по шоссе стучат.

Маленький, работящий,
он вдалеке и тут,
сосредоточась, тащит
все, что ему дадут.

Я б, говоря по правде,
хоть и довольно смел,
даже по принужденью
на ишака не сел.

Немолодой товарищ,
грамотный гражданин,
я обожаю скорость
длинных автомашин.

Мне по душе и нраву —
верьте в мои слова —
мягкие их сиденья,
жесткие кузова.

Дороги мне приметы
быстротекущих лет:
грохот мотоциклета,
легкий велосипед.

Так что при этих взглядах —
как бы точней сказать? —
благостным ретроградом
трудно меня считать.

Мне захотелось просто
приободрить слегка
перед своим отъездом
этого ишака.

Просто мне захотелось,
сам не пойму с чего,
скрасить прощальным словом
будущее его.

Душанбе

РОЗА ТАДЖИКИСТАНА

В юности необычной,
вовсе не ради позы,
с грубостью ироничной
я относился к розам.

В залах тогдашних съездов,
в том правовом порядке
были совсем не к месту
эти аристократки.

Мне при моих замашках
и пролетарском стиле
простенькие ромашки
более подходили.

Прошлой весной впервые
я прилетел нежданно
из глубины России
к солнцу Таджикистана.

Утром сквозь сад зеленый,
пенье и воркованье
шел я, ошеломленный
птицами и цветами.

По переулкам вешним
долго ходил, вздыхая,
словно бы мелкий грешник
по филиалу рая.

В щелях любой калитки,
в дворике каждом малом,
в скудности и в избытке
роза благоухала.

В блеске стекла и стали
между асфальтом серым
возле Цека стояли
розовые шпалеры.

И на прилавке даже
в банке из-под варенья
роза — не для продажи,
только для украшенья.

И за стеклом трехтонки
из гаража совхоза,
воткнутая в сторонке,
блекло светилась роза.

Роза в цеху рабочем
и под окном поэта.
Мне приглянулась очень
демократичность эта.

Вскорости между делом
я ощутил неловко:
выдохлась, ослабела
старая установка.

Может быть, мне простится
тихое нарушенье
принципов и традиций
грозного поколенья.

Ведь в остальном, ребята,
лозунги нашей Ставки
я соблюдаю свято —
без никакой поправки.

Душанбе

БЕЛАЯ ВЕЖА

Там, где мирные пашни,
на краю городском
молча высится башня,
окруженная рвом.

Солнце летнее светит,
снег из тучи летит.
Лишь она семь столетий
неподвижно стоит

возле близкой границы,
у текучей реки.
В этих старых бойницах
вы стояли, стрелки.

Нет, они не пустые:
как столетья назад,
очи древней России
из проемов глядят.

Башня Белая Вежа,
слово башни Кремля:
очертания те же,
та же наша земля.

Ты стоишь на границе,
высока и стара,
красных башен столицы
боевая сестра.

Меж тобою и ними
зыбкий высится мост,
золотистый и синий,
из тумана и звезд.

Минск

ШЕСТИДЮЙМОВКА «АВРОРЫ»

Зимним утром, неспешно и праздно,
и не весел, и вроде не зол,
размышляя о мелочи разной,
я вдоль невского берега шел.

И как раз в эту самую пору —
я узнал ее всем существом! —
мне впервые явилась «Аврора»
в неподвижном величье своем.

По-граждански нескладно одетый,
замирая от счастья тайком,
шел я тихо по палубе этой,
запорошенной мирным снежком.

И потом, оглянувшись неловко,
в тишине, словно мальчик какой,
легендарной той шестидюймовки
я несмело коснулся рукой.

Сразу пальцы недвижными стали,
я не смог их тогда развести.
Ощущение бури и стали
я унес осторожно в горсти.

Что мне мелкое счастье и горе,
что с того, что сутулиться стал,
если я на самой на «Авроре»
озаренный и бледный стоял!

И меня через долы и горы
вместе с русским народом ведет
указующий палец «Авроры»,
устремленный — все время! — вперед.

Ленинград

КОСОВОРОТКА

В музейных залах Ленинграда
я оглядел спокойно их —
утехи бала и парада,
изделья тщательных портных.

Я с безразличием веселым
смотрел на прошлое житье:
полуистлевшие камзолы
и потемневшее шитье.

Но там же, как свою находку,
среди паркета и зеркал
я русскую косоворотку,
едва не ахнув, увидал.

Подружка заводского быта,
краса булыжной мостовой,
была ты скроена и сшита
в какой-то малой мастерской.

Ты, покидая пыльный город,
взаймы у сельской красоты
сама себе взяла на ворот
лужаек праздничных цветы.

В лесу маевки созывая,
ты стала с этих самых пор
такою же приметой мая,
как соловьиный перебор.

О русская косоворотка,
рубаха питерской среды,
ты пахнешь песнею и сходкой,
ты знаешь пляску и труды!

Ты храбро шла путем богатым —
через крамольные кружки,
через трактиры и трактаты,
и сквозь конвойные штыки.

Ты не с прошением, а с боем,
свергая ту, чужую власть,
сюда, в дворцовые покои,
осенней ночью ворвалась.

Сюда отчаянно пришла ты
под большевистскою звездой
с бушлатом, как с матросским братом,
и с гимнастеркою солдата —
своей окопною сестрой.

Ленинград

МАЛЬЧИШЕЧКА

В Петропавловской крепости,
в мире тюремных ворот,
возле отпертой камеры
молча теснится народ.

Через спины и головы
зрителям смутно видны
одинокие, голые
струйки тюремной стены.

Вряд ли скоро забудется
этот сложенный намертво дом,
кандалы каторжанина,
куртка с бубновым тузом.

Экскурсанты обычные,
мы под каменным небом сырым
лишь отрывистым шепотом,
на ухо лишь говорим.

Но какой-то мальчишечка
наши смущает умы,
словно малое солнышко
в царстве железа и тьмы.

И родители чинные,
те, что рядом со мною стоят,
на мальчишку на этого,
и гордясь и смущаясь, глядят.

Не стесняйся, мальчонышек!
Если охота — шуми,
быстро бегай по камерам,
весело хлопай дверьми.

Пусть резвится и носится
в милом азарте своем,
открывает те камеры,
что заперты были царем.

Без попытки пророчества
я предрекаю, любя:
никогда одиночество,
ни за что не коснется тебя.

Ленинград

ПЕТР И АЛЕКСЕЙ

Петр, Петр, свершились сроки.
Небо зимнее в полумгле.
Неподвижно бледнеют щеки,
и рука лежит на столе —

та, что миловала и карала,
управляла Россией всей,
плечи женские обнимала
и осаживала коней.

День — в чертогах, а год — в дорогах,
по-мужицкому широка,
в поцелуях, в слезах, в ожогах
императорская рука.

Слова вымолвить не умея,
ужасаясь судьбе своей,
скорбно вытянувшись, пред нею
замер слабостный Алексей.

Знает он, молодой наследник,
но не может поднять свой взгляд:
этот день для него последний —
не помилуют, не простят.

Он не слушает и не видит,
сжав безвольно свой узкий рот.
До отчаянья ненавидит
все, чем ныне страна живет.

Не зазубренными мечами,
не под ядрами батарей —
утоляет себя свечами,
любит благовест и елей.

Тайным мыслям подвержен слишком,
тих и косен до дурноты.
— На кого ты пошел, мальчишка,
с кем тягаться задумал ты?

Не начетчики и кликуши,
подвывающие в ночи,—
молодые нужны мне души,
бомбардиры и трубачи.

Это все-таки в нем до муки,
через чресла моей жены,
и усмешка моя, и руки
неумело повторены.

Но, до боли души тоскуя,
отправляя тебя в тюрьму,
по-отцовски не поцелую,
на прощанье не обниму.

Рот твой слабый и лоб твой белый
надо будет скорей забыть.
Ох, нелегкое это дело —
самодержцем российским быть!..

Солнце утренним светит светом,
чистый снег серебрит окно.
Молча сделано дело это,
все заранее решено...

Зимним вечером возвращаясь
по дымящимся мостовым,
уважительно я склоняюсь
перед памятником твоим.

Молча скачет державный гений
по земле — из конца в конец.
Тусклый венчик его мучений.
Императорский твой венец.

Ленинград

НАТАЛИ

Уйдя с испугу в тихость быта,
живя спокойно и тепло,
ты думала, что все забыто
и все травою поросло.

Детей задумчиво лаская,
старела как жена и мать...
Напрасный труд, мадам Ланская,
тебе от нас не убежать!

То племя, честное и злое,
тот русский нынешний народ,
и под могильною землею
тебя отыщет и найдет.

Еще живя в сыром подвале,
где пахли плесенью углы,
мы их по пальцам сосчитали,
твои дворцовые балы.

И не забыли тот, в который,
раба страстишечек своих,
толкалась ты на верхних хорах
среди чиновниц и купчих.

И, замирая то и дело,
боясь, чтоб Пушкин не узнал,
с мольбою жадною глядела
в ту бездну, где крутился бал.

Мы не забыли и сегодня,
что для тебя, дитя балов,
был мелкий шепот старой сводни
важнее пушкинских стихов.

Ленинград

ГАЗЕТНАЯ ЛИРА



ПОД ФОНАРЕМ, НА ПЕРЕКРЕСТКЕ...

Под фонарем, на перекрестке,
юнцу влюбленному под стать,
я у вечернего киоска
люблю газеты ожидать.

Они сегодня запоздали.
Но расходиться — не расчет,
и очередь, как и вначале,
не убывает, а растет.

Здесь нет азарта, нету давки
и жадных зайчиков в глазах,
как вдоль мосторговских прилавков
и в рыночных очередях.

На зимней площади столицы
иль на окраине страны
газетной очереди лица
всегда достоинства полны.

Стоят в значительном покое,
от суетности в стороне,
старуха грузная с клюкою,
мужчина в шляпе и пенсне.

Пацан в лиловых брюках лыжных,
и в ботах с пряжками старик.
Мне хорошо стоять средь ближних,
я к ним, как свойственник, привык.

Тут, словно бы в каком-то классе,
отчетливая тишина,
одно молчащее согласье,
сосредоточенность одна.

Нам дорог строй газетной лиры,
ее торжественность и прыть.
Перед лицом всеобщим мира
негоже мелочными быть.

НАСТОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Совсем недавно это было:
моя подруга, как и встарь,
мне зимним утром подарила
настольный малый календарь.

И я, пока еще не зная,
как дальше сложатся они,
уже сейчас перебираю
неспешно будущие дни.

И нахожу не безучастно
средь предстоящих многих дат
и праздники расцветки красной,
и дни рождений и утрат.

Сосредоточась, брови сдвинув,
уйдя в раздумия свои,
страны листаю годовщины,
как будто праздники семьи.

Редактора́ немало знали,—
они подкованный народ,—
однако же не угадали,
что год грядущий принесет.

Страна, где жил и умер Ленин,
союз науки и труда,
внесет, конечно, добавленья
в наш год, как в прошлые года.

Весь устремясь к свершеньям дальним,
еще никак не знаменит,
уже в какой-нибудь читальне
ученый юноша сидит.

Сощурившись подслеповато,
вокруг не слыша ничего,
он для страны готовит дату
еще открытья одного.

Победы новые пророча
в краю заоблачных высот,
уже садится где-то летчик
в пока безвестный самолет.

Строители, работой жаркой
встречая блещущий январь,
внесут, как в комнату подарки,
свои поправки в календарь.

Уже, в своем великолепье,
свободной радости полна,
рвет перержавленные цепи
колониальная страна.

Отнюдь не праздный соглядатай,
морозным утром, на заре,
я эти будущие даты
уже нашел в календаре.

Я в них всей силой сердца верю,
наполнен ими воздух весь.
Они уже стучатся в двери,
они уже почти что здесь.

ТОВАРИЩ КОМСОМОЛ

В папахе и обмотках
на съезд на первый шел
решительной походкой
российский комсомол.

Его не повернули,
истраченные зря,
ни шашки и ни пули
того офицерья.

О том, как он шагает,
свою винтовку сжав,
доныне вспоминают
четырнадцать держав.

Лобастый и плечистый,
от съезда к съезду шел
дорогой коммунистов
рабочий комсомол.

Он только правду резал,
одну ее он знал.
Ночной кулак обрезом
его не задержал.

Он шел не на потеху
в победном кумаче,
и нэпман не объехал
его на лихаче.

С нелегкой той дороги,
с любимой той земли
в сторонку лжепророки
его не увели.

Ему бывало плохо,
но он, упрям и зол,
не ахал и не охал,
товарищ комсомол.

Ему бывало трудно —
он воевал со злом
не тихо, не подспудно,
а именно трудом.

Тогда еще бездомный,
с потрескавшимся ртом —
сперва он ставил домны,
а домики — потом.

По правилам науки
крестьянско-заводской
его пропахли руки
железом и землей.

Веселый и безусый,
по самой сути свой,
пришелся он по вкусу
Отчизне трудовой.

ПРОДОЛЖАТЕЛИ

Бригаде коммунистического труда
депо Москва-Сортировочная

В полуразрушенной России
под красным заревом знамен
за всю историю впервые
был этот подвиг совершен.

С тех пор прошли десятилетья,
но мы под знаменем родным,
как продолжатели и дети,
дела отцовские творим.

Сегодня в замыслах народных,
в рабочих душах и сердцах,
приобретает тот субботник
иную ширь, иной размах.

Ему простору больше надо,
и он, вздымая комсомол,
в коммунистических бригадах
своих наследников нашел.

Сегодня ты, народ свершений,
еще сильней и выше стал —
вот это и предвидел Ленин,
когда про тот Почин писал.

СПУТНИК

Мы утром пока еще смутно
увидеть сегодня могли,
как движется маленький спутник —
товарищ огромной земли.

Хоть он и действительно малый,
но нашею жизнью живет.
Он нам посылает сигналы,
и их принимает народ.

Эпоха дерзаний и странствий,
ты стала сильнее с тех пор,
когда в межпланетном пространстве
душевный пошел разговор.

Победа советского строя,
путь в дальнее небо открыт —
об этом звезда со звездою
по-русски сейчас говорит.

РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ

В разговоре о главном
не совру ничего...
Я приметил недавно
паренька одного.

Наш по самой по сути
и повадке своей,
он стоял на распутье
возле школьных дверей.

Для него в самом деле
эти дни не легки:
навсегда отзвенели
в коридорах звонки.

От учебы от школьной
ты шагай, дорогой,
не дорожкой окольной,
а дорогой прямой.

В институтах науки,
на заводах страны
эти сильные руки
до зарезу нужны.

Но замечу попутно,
ничего не тая:
не насчет институтов
агитирую я.

Говорю без сомнений
и без всяких обид:
там таких заявлений
много тысяч лежит.

Мне хотелось бы, чтобы
из оконченных школ
на иную учебу
ты, товарищ, пошел.

Я бы сам из-за парты,
слыша времени гул,
с наслажденьем, с азартом
на работу шагнул.

Нету лучшего сроду,
чем под небом большим
дым советских заводов —
нашей родины дым.

В том семействе могучем
всем бы надо побыть:
и работе обучат,
и научат, как жить.

Не на танцах нарядных
жажду встречи с тобой,
а в шахтерской нарядной,
в заводской проходной.

Мне хотелось бы очень —
заявляю, любя, —
чтобы люди рабочим
называли тебя.

Это в паспорт твой впишут,
в комсомольский билет.
Как мы думаем, выше
просто звания нет.

ПРАЗДНИЧНЫЙ МОНОЛОГ

В тот год занялась, засветилась
народного гнева заря.
По снежной земле прокатилась
пустая
корона
царя.
И сразу же, следом за нею,
солдаты восставшей земли
по нищей военной Расее
подальше
царя
повезли.
Недолго, от радости спятив,
присяжный болтун и нахал
валялся на царской кровати
и роль
полководца
играл.
Фигляр беспощадный и жалкий
не дал никому ничего;
валяется где-то на свалке —
и черт с ней! —
фуражка его.

Он вскоре уже без оглядки,
испуганный, еле живой,
удрал, не собравши манатки,
под флаги
державы
иной.
В ту осень, сплотившись в отряды,
возмездьем своим велики,
солдаты сбивали прикладом
с буржуйских
голов
котелки.
Шагая отважно и крепко,
отчаянно весел и зол,
в потершейся ленинской кепке
Октябрь
по России
прошел.
И с ним убежденно и гневно
повсюду крепили союз
бедняцкая шапка деревни,
рабочих окраин картуз.

*

Нам все нелегко доставалось.
Но главное — духом не пасть.
Со всеми врагами сражалась
рабоче-
крестьянская
власть!
Мы часто бойцов хоронили
в могилах советской земли.

Но
знамя свое
сохранили,
но
волю свою
сберегли!
Мы молча тогда голодали
и громко кляли и клялись.
Но
все-таки
мы отстояли,
но
все-таки
мы не сдались!
Ты стала советской, Россия,
и каждому — трижды родной.
И все у нас было —
впервые,
мы все начинали —
впервой!
И первых селькоров заметки,
и первых рабфаковцев прыть,
и первую —
ту —
пятилетку
не в силах
страна
позабыть.
Нельзя позабыть. Невозможно
из памяти вычеркнуть их:
горластых
бригад
молодежи,

твоих
коммунистов
седых.
И тех, что под флагом Советов,
тебе отдавая свой труд,
не носят партийных билетов,
но
с партией вместе
живут.
Тех самых, что — это на деле
они доказали борьбой —
с великою гордостью делят
и счастье
и горе
с тобой.
Давно уже стало обычным,
как, скажем, дышать или пить,
о собственном
нашем
величье
с газетных
страниц
говорить.
Что это хоть малость нескромно,
нисколько не думаю я.
Она ведь
и вправду
огромна —
Советская
наша
земля.
Я врать или хвастать не стану:
пристало ли это в стихах?

Но мы ведь
живем
как титаны,
у нас
богатырский
размах.
Мы шагом гигантским шагали,
геройски с врагами дрались,
земные
освоили
дали
и небом
теперь
занялись.
Мы слов этих праздничных стоим.
Я славлю строкою своей
величие
нашего
строя,
величие
наших
идей,
и небо
страны
голубое,
и сорок
ее
Октябрей!

ПИОНЕРСКАЯ ЗОРЬКА

Над страной пятилеток
восход красно-розов.
Утро этого дня,
утро будущих дней,
будто красные флаги
Октябрьских матросов,
словно красные галстуки
наших детей.

По утрам я слежу
благодарно и зорко,
как в светлеющем небе,
бесшумно горя,
словно счастье блестит
пионерская зорька —
золотистая дочка
Зари Октября.

КНИЖКА УДАРНИКА

Перебирая
под праздники
письменный стол,
книжку ударника
я между папок нашел.

Книжка ударника —
красный ударный билет
давнего времени,
незабываемых лет!

В комнате вечером
снова призывно звучат
речи на митингах,
песни ударных бригад.

Вечером в комнате
снова встают предо мной
стройка Челябинска,
Бобрики и Днепрострой.

Все общежитья,
в которых с друзьями я спал,

все те лопаты,
которыми землю копал.

Все те станки,
на которых работать пришлось,
домны и клубы,
что мне возводить довелось.

Вновь надо мною
сияют
приметы тех лет:
красные лозунги,
красные цифры побед.

И возникают
оттуда, из прожитых дней,
юные лица
моих комсомольских друзей.

А за окном
занимается, рдеет заря.
Что же, товарищи,
мы потрудились не зря!

Сооружения
наших ударных бригад
в вольных степях
и на реках привольных стоят.

...Мы, увлеченные
делом своим трудовым,
на комсомольцев теперешних
нежно глядим.

И комсомольцы
на нынешних стройках
сейчас
песни поют
и читают романы о нас.

ДАВНИХ ДНЕЙ ГЕРОИНИ

Где вы ходите ныне?
Потерялся ваш след,
давних дней героини,
слава старых газет.

Помню вас на плакатах
в красном мареве слов
тех нелегких тридцатых
переломных годов.

На делянках артели,
на трибунах больших
вы свое отзвенели,
голоса звеньевых.

Сделав главное дело,
дочки нашей земли
из высоких пределов
незаметно сошли.

Возвратились беглянки
от всеобщей любви
на свои полустанки,
в сельсоветы свои.

И негромко, неслышно
снова служат стране
под родительской вишней,
от столиц в стороне.

Их недолгую славу
и тогдашний почет
смутно помнит держава
средь новейших забот.

Но, однако ж, бывает,
что под праздник она,
засветясь, называет
тех сестер имена.

БУДУЩЕЕ

Я рад, что умею
в громадном и малом —
во всем, что привык
ежедневно встречать,
по легким движеньям,
по робким началам
крупицы грядущего
вдруг угадать.
Я горд, что страны
трудовое старанье,
что наши дела
не пропали во мгле.
Всемирной коммуны
огромное зданье
стоит на возделанной
нами земле.
Мы сами его заложили
фундамент
и начали строить
четыре стены
из бревен, что были
отгружены нами
на первых субботниках
нашей страны.

Я рад, что,
дома защищая от пыли,
у окон Коммуны
листвою шумят
деревья,
которые вкопаны были
в День леса
ручонками наших ребят.
Не в эти ли
солнцем облитые дали
глядели бойцы
героических дней,
когда
за пайками бессмертья стояли
в огне
пулеметных очередей?
Известно, что будут
в ангарах планеты
машины к машинам
стоять без конца,
но мне интереснее
техники этой
сердца человечьи,
людские сердца.

Не верю,
что, блестками солнца унизан,
ты явишься нам
ангелочка светлей,
ты будешь таким же,
боец коммунизма,
как лучшие люди
Отчизны моей.

Когда в середину
враждебного круга
снижается летчик
из туч снеговых,
чтоб вынести сбитого
пулею друга
в свое окруженье,
на крыльях своих;
когда под землей,
побледнев от волненья,
врубаясь
в беззвучную толщу пород,
забойщик,
в слепящем огне вдохновенья,
двадцатую норму
за смену даст,—
грядущее,
ты придвигаешься ближе,
и я в этот час,
сквозь пласты темноты,
сквозь снег и сквозь уголь,
отчетливо вижу
твои,
человек коммунизма,
черты.

СОДЕРЖАНИЕ

Милые красавицы России

Военное время

Ромашка Венесуэлы

Поэты

Дальняя поездка

Газетная лира

СМЕЛЯКОВ
Ярослав Васильевич

Избранные произведения,
том I

Редактор *Н. Крюков*

Художественный редактор
Ю. Боярский

Технический редактор
М. Фридкина

Корректор *Г. Асланянц*

Сдано в набор 6/VII 1966 г.
Подписано в печать 14/IV 1967 г.
Бумага типогр. № 1. Формат 70×
×108 1/32—10,5 печ. л.=14,7 усл. печ. л.
9,3 уч.-изд. л.+1 вкл.=9,34 л.
Заказ 1702. Тираж 70 000.
Цена 65 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа
Комитета по печати
при Совете Министров БССР.
Минск, Красная, 23